

ISSN 0207—4389

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI

TOIMETISED

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS

649

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ
В РОССИИ

II

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS
ALUSTATUD 1893. a. VIHİK 649 ВЫПУСК ОСНОВАНЫ в 1893 г.

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ В РОССИИ

II

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

Сборник

в честь 60-летия доктора филологических наук,
профессора Никиты Ильича Толстого

ТАРТУ 1983

Редакционная коллегия:

Э. А. Вайгла, А. Д. Дуличенко, С. В. Смирнов (отв. редактор), Х. И. Хейтер

ОГЛАВЛЕНИЕ

А. Д. Дуличенко, Н. И. Толстой как славист (К 60-летию со дня рождения)	3
С. Б. Бернштейн, Cyrillo-methodiana в России	22
Г. К. Венедиктов, Новые материалы к биографии Ю. И. Венелина	30
С. В. Смирнов, К биографии П. И. Прейса	55
П. А. Дмитриев, Г. И. Сафронов, Еще раз на тему «Вук Караджич и Россия» (В связи с выходом книги Миодрага Поповича «Илот»)	67
Е. И. Гурьева, С. В. Смирнов, Вопросы русского и славянского языкознания в трудах П. А. Лавровского	77
Ю. И. Минералов, Концепция А. А. Потебни и русский поэтический стиль	90
В. Ю. Франчук, К истории распространения идей А. А. Потебни в начале XX в.	106
В. В. Колесов, К принципам периодизации истории русского языкознания	122

Н. И. ТОЛСТОЙ КАК СЛАВИСТ

(К 60-летию со дня рождения)

А. Д. Дуличенко

Есть исследователи, без имени которых невозможно составить полной картины развития той или иной науки в тот или иной исторический период — так значителен их вклад в нее, так глубоки и плодотворны их идеи. В историю послевоенного отечественного и мирового славяноведения органично вписано имя Никиты Ильича Толстого, одного из крупнейших советских славистов и лингвистов, доктора филологических наук, профессора Московского университета, руководителя сектора этнолингвистики и фольклора Института славяноведения и балканистики АН СССР, члена Македонской и Австрийской академий наук.

Начало научного пути Н. И. Толстого, относящееся к первой половине 50-х гг., связано с двумя классическими для славистики областями исследования — палеославистикой и славянской диалектологией. Еще студентом болгарского отделения филологического факультета Московского университета и по его окончании в 1950 г. Н. И. Толстой выезжает в диалектологические экспедиции по изучению переселенческих говоров болгар на территории Молдавии и Украины (см. составленный совместно с другими «Отчет о диалектологической экспедиции в болгарское село Суворово летом 1951 г.», 1953). Под руководством проф. С. Б. Бернштейна он пишет и в 1954 г. успешно защищает кандидатскую диссертацию «Краткие и полные прилагательные в старославянском языке». Верность однажды избранным областям исследования Н. И. Толстой сохраняет по сей день. Палеославистика естественным образом привела его к проблематике истории славянских национальных литературных языков; диалектология стала не только базой созданных им и получивших широкое международное признание методов лингвогеографического анализа славянской лексики, но и привела Н. И. Толстого к разработке методологических принципов интердисциплинарной науки — этнолингвистики.

Уже в кандидатской диссертации молодой исследователь проявил и широту своих лингвистических взглядов, и тонкое языковое чутье, и фундаментальность подхода к языковому материалу. Опираясь на канонические тексты, Н. И. Толстой выявил значения кратких и полных форм старославянских прилагательных, установил основные принципы их корреляции и определил специфику синтаксической связи этих форм с существительными. Выявленная Н. И. Толстым зависимость грамматической категории определенности ~ неопределенности от значения или семантического класса прилагательного была позднее проверена им на материале живых славянских языков — сербско-хорватского, где эта категория сохранилась лучше, чем в каком-либо другом языке, словенского, русского и др. («К вопросу о судьбе славянских кратких и полных прилагательных», 1976). Занимаясь старославянским языком, Н. И. Толстой обратил внимание на противоречивые трактовки самого понятия «старославянский язык», бытовавшие в палеославистике, на недостаточную изученность истории старославянского как литературно-письменного языка и его роли в процессе становления и развития славянских национальных литературных языков. Н. И. Толстой выдвигает идею о том, что, несмотря на наличие локальных «окрасок», первый литературно-письменный язык славянства был в принципе единым литературным языком греко-славянского мира в течение IX—XVIII вв.; с начала 60-х гг. для этого языка он использует лингвоним «древнеславянский (литературный) язык», который постепенно начинает утверждаться в работах ряда других славистов (Н. А. Мещерский, М. М. Копыленко, В. Ф. Мареш). Затем последовала его периодизация истории древнеславянского литературного языка: первый период (IX—X, отчасти XI вв.) — раннего древнеславянского литературного языка, т. е. старославянского («золотой век» древнеславянской книжности), второй (XII—XVI вв.) — период среднего древнеславянского литературного языка, третий (XVII—XVIII вв.) — период позднего древнеславянского литературного языка («К вопросу о древнеславянском литературном языке как общем литературном языке южных и восточных славян», 1961). Эта периодизация учитывала не только историко-культурные особенности функционирования древнеславянского языка как средства межславянской культуры, но и факторы нормализации и централизации его норм, имевшие специфическое содержание и направление в разные периоды, — в ранний, кирилло-мефодиевский, затем в эпоху тырновской и ресавской школ и так наз. второго южнославянского влияния на Руси — в XIV—XV вв., и, наконец, в эпоху виленской, киевской и московской школ («Роль кирилло-мефодиевской традиции в истории южно- и восточнославянской письменности», 1963). Н. И. Толстой первый в палеославистике комплексно подошел к вопросу о взаимоотношении локальных типов

древнеславянского литературного языка, бытовавшего на славянском Востоке и Юге. Им установлено, что с периода Реформации (XVI в.) и в XVII в., когда возникают литературные языки различных славянских народов, древнеславянский литературный язык, несмотря на ряд проведенных на Востоке опытов по расширению функциональной границы в области светской и чисто светских жанров литературы, переживает кризис, хотя и продолжает употребляться в церковной и сопредельных сферах [«Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI—XVII вв.)», 1963]. В период, предшествующий формированию национальных литературных языков Сербии, Болгарии и России, древнеславянский литературный язык оставался в то же время источником и своеобразной моделью, на основе которой создавались так наз. «славяно-сербский», «славяно-болгарский» и «славяно-русский» литературно-письменные языки. В работе «Роль древнеславянского литературного языка в истории русского, сербского и болгарского литературных языков в XVII—XVIII вв.» (1962) Н. И. Толстой убедительно показывает это, опираясь на тексты XVIII в. и используя прекрасную возможность сопоставления параллельных мест одних и тех же произведений, появлявшихся на этих «славяно-национальных» языках. Исследование указанной проблематики Н. И. Толстой успешно проводит также, основываясь на анализе «старинных представлений о народно-языковой базе древнеславянского литературного языка (XVI—XVII вв.)» (1976), специально обращая внимание на весьма показательный материал — форму и функционирование лингвонимов «словенский язык», «русский язык», «сербский язык» и под. в различных славянских культурных центрах, что проливает свет на саму историю древнеславянского литературного языка, судьбу его локальных типов и их роль в формировании и истории отдельных литературных языков славянских народов. Обращение к такому специфическому материалу неслучайно — оно дань русской палеославистической традиции, начатой почти сто лет назад В. Ягичем, его колоссальным по объему трудом — сборником текстов и комментариев к ним под общим названием «Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке» («Исследования по русскому языку» ОРЯС, т. I, 1885—1895).

Для Н. И. Толстого как для большого ученого свойственно не только оригинально и успешно решать поставленные задачи; он умеет выделить новые проблемы и наметить новые перспективы. Еще в 60-е гг. он стал говорить о перспективе «создания научной грамматики старославянского языка, отвечающей современным требованиям палеославистики», своеобразной «академической» грамматики («Старославянский язык», 1967); тогда же и особенно на первом послевоенном симпозиуме по старославян-

скому языку, состоявшемся в 1978 г. в Московском университете, Н. И. Толстой призывал к планомерному и широкому исследованию всего корпуса памятников и текстов древнеславянского литературного языка среднего и позднего периодов, т. е. традиционно называемого церковнославянским языком. Работа эта впереди, и нет сомнения в том, что она будет продолжена, в том числе и многочисленными учениками Н. И. Толстого.

Тщательное и всестороннее исследование вопросов позднего древнеславянского литературного языка вполне логично подводит Н. И. Толстого к проблематике донациональной истории литературных языков южно- и восточнославянских народов. Особенно значителен вклад Н. И. Толстого в изучение литературно-языковой ситуации у сербов в XVIII — начале XIX вв. Выдающимся трудом в этом направлении является имеющая монографический характер работа «Литературный язык у сербов в конце XVIII — начале XIX вв.» (1978—1979). Старую сербскую книжность Н. И. Толстой делит на 14 видов («жанров») — конфессионально-литургическую литературу, конфессионально-гимнографическую, агиографическую..., историческую, повествовательную, паломническую и т. д., с чем связан тип языка, степень строгости и устойчивости литературно-языковых норм. Отталкиваясь от периодизации истории литературного языка у сербов в XVIII в., предложенной в 1935 г. Б. О. Унбегауном, Н. И. Толстой, по сути, предлагает свою периодизацию, которая строится им на учете лингвистических и социолингвистических, исторических и историко-культурных (и литературных) критериев. До 1740 г. у сербов бытовал древнеславянский литературный язык сербского типа (язык Ерофея Рачанинского, Гавриила С. Венцловича), с 1740 по 1760 — «славяно-сербский» на русской основе, под которой понимаются древнеславянский язык позднего русского типа, русский «высокий» литературный и историографический слоги XVIII в. (Христофор Жефарович, Симеон Симонович, тексты делового, церковного и гражданского языка и т. д.), с 1760 по 1780 — укрепление позиций «славяно-сербского» языка (язык букварей, грамматических и проч. сочинений, язык переводов Павла Юлинца, произведений Захария Орфелина), с 1780 по 1800 — переходный период от «славяно-сербского» к литературному языку на народной основе, когда наблюдается острая «конкуренция опытов нормирования и кодифицирования литературного языка» и литературно-языковое соотношение зависит прежде всего от жанра (язык учено-теологической и житийной литературы, административно-юридических, публицистических, естественно-научных и проч. текстов, язык Досифея Обрадовича, Йована Раича и др.); наконец, период начала XIX в. (до 1825 г.), для которого характерно преимущественное употребление языка, близкого к народному, либо «среднего» языка, также тяготеющего к живой речи (язык Вида-

ковича, Иоакима Вуича, Лукиана Мушицкого, Гавриила Ковачевича, ранний период деятельности Вука Караджича). Логическим завершением этой сложной литературно-языковой ситуации явилась знаменитая реформа В. Караджича.

В связи с вопросами донациональной истории славянских литературных языков важно отметить также раннюю работу Н. И. Толстого «Об образовании восточнославянских национальных литературных языков» (1959), в которой выделяется два литературно-языковых типа — книжно-славянский, в основе общий для восточных (и южных) славян, и народно-литературный, и его доклад на всесоюзной конференции по славянским литературным языкам в донациональный период «Славянские региональные литературные языки и их функции в современном и донациональный период» (1969), в котором выделены параметры, характеризующие современные региональные литературные языки (=литературные микроязыки), а ситуация с донациональными региональными вариантами литературного языка определена, как период энергичной конкуренции за право стать основой общенационального литературного языка. Отказываясь от прямолинейного понимания диалектной базы литературного (в частности, русского) языка, Н. И. Толстой развивает идею междиалектного койне как основы, на которой формируется национальный литературный язык («Създаване на койне в славянските езици и неговото влияние върху литературните езици», 1963). Н. И. Толстому принадлежит ряд интересных работ по истории других славянских литературных языков — словенского, болгарского [«Культурно- и литературно-исторические предпосылки образования национальных литературных языков (на материале сербскохорватского, болгарского и словенского языков)», 1981], а его «деминутивно» названная работа «Страничка из истории македонского литературного языка» (1965) оценена, как «значительное достижение советской македонистики» («Литературен збор», Скопје, 1965, бр. 6, с. 24). Н. И. Толстой впервые публикует и детально анализирует переводы из «Краледворской рукописи», сделанные на македонский язык в XIX в. К. Дмитриевым-Петковичем и представляющие собой «один из ранних опытов создания македонского литературно-поэтического языка» на основе центральных македонских диалектов.

В славянском языкознании давно стали общепризнанными достижения Н. И. Толстого в изучении диалектной лексики и семантики. За поездками в конце 40-х — начале 50-х гг. в болгарские села Украины и Молдавии последовали экспедиции Н. И. Толстого (в связи с созданием Болгарского диалектологического атласа) по изучению юго-восточных говоров Болгарии и говоров беженцев из Эгейской Македонии в Ташкенте; с 1962 г. и по сей день объектом полевых разысканий Н. И. Толстого является одна из наиболее архаичных в языковом и этно-куль-

турном плане зон современной Славии — белорусское и украинское Полесье. В «толстовских» Полесских экспедициях принимало и принимает участие большое число специалистов и студентов из разных славистических центров страны. Создана целая научная школа, основное внимание которой направлено на этнолингвистическое изучение Полесья, а через него — и всей Славии. В разработке программ и методик исследования, в руководстве экспедициями неизменным соратником Н. И. Толстого всегда была его супруга С. М. Толстая.

К началу 60-х гг. диалектная семасиология оставалась наиболее слабым звеном диалектологии. Блестящая лингвистическая эрудиция и большой опыт работы с полевым материалом помогли Н. И. Толстому сдвинуть ее с мертвой точки. Н. И. Толстой создает целостную теорию семантического микрополя, а на VI Международном съезде славистов в Праге очерчивает круг основных проблем новой языковедческой дисциплины — сравнительной славянской семасиологии («Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии», 1968). Еще до поездки в Полесье Н. И. Толстой обосновывает принципы выявления и моделирования лексической системы и ее проецирование (вместе с семантическими дифференциальными признаками) на карту («Можно ли представить структурную типологию лексики славянских языков в лингвогеографическом плане?», 1961). В его ставшей классической работе «Из опытов типологического исследования славянского словарного состава» (1963—1966) подчеркивается первостепенная значимость архаичного диалектного континуума при реконструкции лексики и семантической структуры праязыка и разрабатывается методика такой реконструкции с учетом и опорой на словообразовательные связи. Дальнейшее всестороннее развитие эти идеи получили в монографии Н. И. Толстого «Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды» (1969) и в его докторской диссертации «Опыт семантического анализа славянской географической терминологии» (1972), объем которой превышает 900 страниц. Слово понимается им как единство лексемы и семемы. Раскрытие механизма изменения значения во времени и пространстве проводится в рамках семантического микрополя, объем и границы которого определяются на основе амплитуды колебания опорной лексемы, т. е. на основе набора разных семем, связанных с одной и той же лексемой. Весьма существенным оказывается понимание семемы как иерархии сем, которые могут выступать в качестве основных или сопутствующих или меняться местами в хронологической перспективе, что влечет за собой такие внутренние явления, как десемантизация, семантизация и трансемантизация. Чем больше значений-рефлексов известно в славянском мире, устанавливает Н. И. Толстой, тем с большей достоверностью и подробностью можно восстановить процесс семан-

тической эволюции от его начала до конечного состояния, тем более убедительна реконструкция слова-этимона. Тщательный анализ славянской географической лексики позволил Н. И. Толстому высказать мысль о том, что этот пласт слов близок к праславянскому не только по составу, но и по семантике. Географическая лексика — это своеобразный «язык земли», который дает больше преимуществ, чем какой-либо другой материал, в деле поиска древнейших (изначальных) мест обитания славян. Лингвистические исследования Н. И. Толстого в этом отношении подкрепляют позиции тех славистов (археологов, этнографов, историков, лингвистов), которые рассматривают Припятское Полесье как исходную зону распространения славянских племен на дальнейшей территории. Одновременно лингвогеографический анализ местной лексики позволил Н. И. Толстому высказать ряд свежих идей относительно диалектного членения Славии, а тем самым и относительно проблемы классификации славянских диалектов. Н. И. Толстой считает целесообразным выявление на современной славянской территории прежде всего «архаических» и «неархаических» зон («Противопоставлены ли в современной Славии центральный и маргинальный ареалы?», 1975), установление лексических и проч. изоглосс, рисующих весьма сложную, а зачастую и нечеткую и даже противоречивую картину диалектного членения первоначальной Славии, что подтверждается и этимологическими разысканиями О. Н. Трубачева 70-х — начала 80-х гг. Изолексам Н. И. Толстой посвятил серию этюдов под общим названием «О... изолексах» — болгаро-македоно-русских (1975), южнославянско-русских (1976), болгаро-русских (1977), а также белорусско-украинских, белорусско-русских, балто- (восточно)славянских. При вычленении границ славянских диалектов неизменным условием считается не сравнение отдельных фактов отдельных языков, а сопоставление материала целых (диалектных или говорных) зон, что значительно приблизит к разгадке процессов праславянской диалектной дифференциации и поможет определить характер и движение позднейших славянских миграционных волн («К вопросу о классификации славянских диалектов», 1973).

Тот, кто следит за работами Н. И. Толстого, может легко убедиться в том, что он в совершенстве владеет правилами весьма редкого в наше время жанра — лингвистического микроочерка (этюда). Объектом микроочерка является одно или несколько слов, связанных или же противопоставленных семантически и этимологически и рассматриваемых в лингвогеографическом аспекте. Первая серия таких микроочерков появилась два десятка лет назад (1962) под названием «Из географии славянских слов» и посвящена словам: **дождь, саламандра, хорохориться, класть; правый — левый, сажа — чад, пот — зной** и др. По аналогии десять лет спустя появилась и серия этюдов «Из блокнота

диалектолога» — о редких фонетико-грамматических и семантических явлениях в болгарских диалектах. Н. И. Толстой умеет высказать и обосновать принципиально новый взгляд на, казалось бы, отстоявшееся явление или мнение. В этом отношении показательны его работы об артикле-члене в славянских языках (1962, 1973), об обнаруженной им непоследовательности первой палатализации задненебных согласных в славянских языках (1978). В докладе к VII Международному съезду славистов в Варшаве Н. И. Толстой блестяще показал отличия в условиях реконструкции лексемы и фразеологизма, выявил основные критерии возведения фразеологизма к праславянскому периоду и тем самым стимулировал усилия фразеологов к вопросам реконструкции праязыкового состояния устойчивых словесных комплексов («О реконструкции праславянской фразеологии», 1973).

Если в 60-е гг. усилия Н. И. Толстого и его сотрудников по Полесским экспедициям сводились в конечном счете к созданию атласа говоров Полесья и большого областного полесского словаря [см. вышедшие под его редакцией тома «Полесье. (Лингвистика. Археология. Топонимика), 1968; «Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря», 1968; а также сборник «Лексика Полесья ў прасторы і часе», 1971], то в 70-е гг. круг задач значительно расширяется за счет специального внимания не только к лингвистическому аспекту полевого материала, но и к его этнографическим и фольклорным характеристикам. Н. И. Толстой (на этом этапе в тесном сотрудничестве с С. М. Толстой) подходит вплотную к необходимости создания новой междисциплинарной науки, названной им этнолингвистикой. В XIX в. диалектология зарождалась и развивалась в недрах этнографии; на рубеже двух веков наблюдается ее обособление; в настоящее время «она начала вновь испытывать острую нужду в союзе или даже в единении с этнографией», поскольку не всегда исследователь в состоянии установить, результатом внутри-, внешне- или внелингвистических факторов является то или иное изменение в языке («Некоторые вопросы соотношения лингво- и этногеографических исследований», 1974). Первым в послевоенной славистике «острую нужду [такого] союза» ощутил Н. И. Толстой. Комплексный подход сразу же обнаружил свои преимущества, позволив успешно проводить реконструкцию элементов духовной культуры древних славян. Особенно плодотворно это было проведено на обрядовом и мифологическом материале. При рассмотрении славянских обрядов лингвистический аспект сводится к изучению обрядовой лексики, которая носит обычно номинационный и метафорический характер; этнографический аспект подразумевает выделение «инвентаря» обрядовых актов, их сравнительно-типологический анализ, после чего следует картографирование актов обряда, их лексических обозначений, предметов и т. д. Все это весьма существенно и направле-

но на перспективу решения извечной славистической проблемы этногенеза славян в целом и отдельных славянских этнических групп в частности («Славянская обрядовая терминология — сравнительно-типологические и лингвогеографические методы ее изучения», 1973; «Этногенетический аспект исследования древней славянской духовной культуры» — совместно с С. М. Толстой, 1979). В докладе к VIII Международному съезду славистов в Загребе Н. И. Толстой и С. М. Толстая детализируют, углубляют и раздвигают горизонты комплексного подхода к реконструкции древней славянской культуры, подчеркивая первостепенную важность для этих целей диалектного материала; обряд рассматривается, как текст с определенной синтагматической последовательностью и комбинацией символов, в котором следует выявить формальные и структурные элементы далекого прошлого; существенным при этом оказывается использование методов внешней реконструкции [«К реконструкции древнеславянской духовной культуры (лингво- и этнографический аспект)», 1978]; ареальный же аспект играет в большинстве своем определяющее и диагностирующее значение («Ареальные аспекты славянской духовной культуры» — совместно с С. М. Толстой, 1978). Аналогичные принципы используются в связи с изучением вопросов славянской мифологии, которая, по убеждению Н. И. Толстого, должна вновь стать самостоятельной дисциплиной, при этом диалектный мифологический материал — ценнейший, а зачастую и единственный источник при реконструкции древнейших славянских мифологических представлений. В последние годы Н. И. Толстой настойчиво развивает мысль о создании диалектологии славянской мифологии («О диалектологии славянской мифологии», 1978). Опираясь на союз диалектологии и этнографии, Н. И. Толстой разработал методы выявления изоморфности изоглосс и изопрагм, порою тянущихся от Полесья до южнославянского и других ареалов. Вообще Полесье рассматривается Н. И. Толстым как аналог праславянского состояния («О возможности исследования Полесья как модели славянского этнолингвистического состояния», 1977), как «почти идеальная» территория, «заповедник языковой и духовной культуры». Первым этапом этнолингвистического изучения Полесья является создание атласа духовной культуры этого края («Атлас духовной культуры Полесья — лингвистический, фольклорный и этнографический аспекты», 1980). С 1981 г. Н. И. Толстой и руководимая им группа славистов начала работу над грандиозным научным предприятием — составлением «Словаря славянских народных древностей», материалом для которого послужит и Полесье, и другие архаичные зоны современной Славии. Все это, безусловно, подтверждает сказанные им недавно слова о том, что этнолингвистика, «оказавшись вновь на передовых позициях науки о языке, переживает свое второе рождение» («Некоторые

проблемы и перспективы славянской и общей этнолингвистики», 1982). Ни у кого нет сомнения в том, что вторым своим рождением этнолингвистика обязана именно Н. И. Толстому.

Широко известны исследования Н. И. Толстого по истории славяноведения. Он одним из первых раскрыл и доказал приоритет русской славистической науки в области словенской диалектологии в XIX в., блестяще показав это на примере словенистических разысканий И. А. Бодуэна де Куртенэ («О работах И. А. Бодуэна де Куртенэ по словенскому языку», 1960), а позднее — и И. И. Срезневского (1981). Работа по составлению и редактированию собрания трудов академика В. В. Виноградова подвела его к изучению взглядов выдающегося русиста на узловыe вопросы истории русского литературного языка («Взгляды В. В. Виноградова на соотношение древнерусского и древнеславянского литературных языков», 1974; «Труды В. В. Виноградова по истории русского литературного языка», 1978). В работе «Мысли Н. С. Трубецкого о русском и других славянских литературных языках» (1981) Н. И. Толстой высоко оценил заслуги русского фонолога, еще в 20-е гг. впервые применившего типологический подход к изучению литературных языков. Н. И. Толстой по достоинству оценил достижения своих предшественников: Д. К. Зеленина — как основоположника русской историко-социальной диалектологии, которому принадлежит также заслуга в членении великорусских диалектов на северновеликорусские и южновеликорусские и идея создания регионального словаря старорусской лексики («Д. К. Зеленин — диалектолог» — совместно с С. М. Толстой, 1979), А. А. Потебню и польского слависта К. Мошинского — как ранних теоретиков этнолингвистического подхода к изучению славянской диалектологии и духовной культуры («О некоторых этнолингвистических наблюдениях Потебни», 1981; «О традициях и результатах исследований, связанных с этнолингвистической школой К. Мошинского», 1971). Свойственный Н. И. Толстому энциклопедизм познаний и всеохватывающая осведомленность практически обо всех трудах в области лингвистики и славистики легко ощутимы не только в ткани его теоретических работ, но и в широте его историографических обзоров [«Советское славяноведение. Краткий обзор литературы. 1945—1963 гг.» — совместно с другими, 1963; «Из истории собирания и исследования славянской (преимущественно русской) географической терминологии», 1967; и др.] и в общих очерках по истории славяноведения [«[Славянское] Языкознание [в Югославии]» в «Истории Югославии», 1963; «Славяноведение» — в Краткой литературной энциклопедии, 1971; и др.], к которым он в последние годы тяготеет.

Рамки статьи не дают возможности подробно остановиться на других разделах славистики, которыми плодотворно занимается Н. И. Толстой. Им создан ряд ценных работ по славянской оно-

мастике («Заметки о славянских именах собственных и их транскрипции», 1964; «Еще раз о 'семантике' имени собственного», 1970; и др.), по поэтике фольклора («Из поэтики русских и сербскохорватских народных песен», 1971), по текстологии («Некоторые вопросы текстологии публикации русских литературных памятников XVIII в.» — совместно с другими, 1981), по славянской лексикографии — укажем хотя бы на большую работу Н. И. Толстого, предпринятую совместно со Словенской академией наук и искусств в Любляне по подготовке к изданию оставшегося в рукописи «Словаря резьянских говоров» И. А. Бодуэна де Куртенэ, на издание под его редакцией и при его тесном сотрудничестве первого в славистике двуязычного «Македонско-русского словаря» (1963). Диапазон научных интересов Н. И. Толстого чрезвычайно широк, как и необычайно широка география его многочисленных публикаций, появляющихся на всех славянских языках во всех уголках современной Славии: Москва — Ленинград — София — Черновцы — Киев — Белград — Минск — Гомель — Варшава — Днепропетровск — Любляна — Ужгород — Загреб — Сараево...

Наконец, не можем не отметить тесные творческие контакты Н. И. Толстого с Тартуским университетом. Н. И. Толстой любит Тарту с его старым университетом и богатейшей библиотекой. Он читал здесь лекции по славянской филологии и славянским древностям, выступал с докладами на проходивших здесь всесоюзных симпозиумах по вторичным моделирующим системам. Н. И. Толстой нередко помещает свои работы в изданиях Тартуского университета. Именно в Тарту появился его первый микрочерк серии «Из заметок по славянской демонологии» (1974). Представляется, что в тартуских публикациях наиболее полно раскрыта разрабатываемая Н. И. Толстым и С. М. Толстой методика использования лингвистических понятий к описанию духовной культуры славянства («О целесообразности применения некоторых лингвистических понятий к описанию славянской духовной культуры» — совместно с С. М. Толстой, 1979). Впоследствии в тартуской «Семиотике», издающейся под редакцией проф. Ю. М. Лотмана, Н. И. Толстой печатает работу, специально посвященную «грамматике» славянских обрядов: здесь всякий обряд представляется, как определенный текст, как некоторая последовательность символов, выраженных при помощи обрядового синтаксиса («Из 'грамматики' славянских обрядов», 1982). В выходящей под редакцией проф. С. В. Смирнова тартуской серии «Из истории славяноведения в России» Н. И. Толстой публикует статью «И. И. Срезневский — диалектолог» (1981), в которой с позиций современной диалектологии и лингвогеографии оценивает пионерский вклад И. И. Срезневского в изучение словацких, польских, словенских, сербско-хорватских и др. славянских диалектов.

Зная деятельную, всегда ставящую вопросы и непременно ищущую на них ответы натуру Н. И. Толстого и отмечая с каждым годом все увеличивающееся число его талантливых работ, можно не сомневаться в том, что нас ждут новые, «толстовские» прочтения и осмысления сложной картины славянского духовного мира. Н. И. Толстой находится в расцвете своих творческих сил, органично соединив в себе редкие среди современных славистов качества филолога-древника и лингвиста-этнолога*.

БИБЛИОГРАФИЯ

ОСНОВНЫХ ТРУДОВ Н. И. ТОЛСТОГО ПО СЛАВЯНОВЕДЕНИЮ

- 1953**
1. Отчет о диалектологической экспедиции в болгарское село Суворово летом 1951 г. — В кн.: Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. Вып. 3. Отв. ред. С. Б. Бернштейн. М.: Изд-во АН СССР, с. 110—149 (совместно с другими).
- 1956**
2. Краткие и полные прилагательные в старославянском языке. — В изд.: Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР [Вып.] 18, М., с. 37—45.
3. Новые работы югославских лингвистов по сербо-хорватскому языку (краткая информация за 1945—1955 гг.). — Вопросы языкознания, № 4, с. 104—111.
- 1957**
4. Значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке (на материале евангельских кодексов). — В изд.: Вопросы славянского языкознания. Вып. 2. М.: Изд-во АН СССР, с. 43—122.
- 1959**
5. Об образовании восточнославянских национальных литературных языков. — Вопросы языкознания, № 6, с. 64—67.
- 1960**
6. Об общеславянском лингвистическом атласе. — Вопросы языкознания, № 5, с. 45—46.
7. О работах И. А. Бодуэна де Куртенэ по словенскому языку. — В кн.: И. А. Бодуэн де Куртенэ (к 30-летию со дня смерти). М.: Изд-во АН СССР, с. 67—81.
- 1961**
8. К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян. — Вопросы языкознания, № 1, с. 52—66.
9. Можно ли представить структурную типологию лексики славянских языков в лингвогеографическом плане? — В кн.: Межвузовская конференция по исторической лексикологии, лексикографии и языку писателя. 28 сентября — 6 октября 1961 г. Тезисы докладов. Л.: Изд-во ЛГУ, с. 4—6.
10. Основные задачи изучения в СССР языков южных и западных славян. — В изд.: Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. [Вып.] 33—34. Актуальные проблемы славяноведения. Материалы первого координационного совещания по актуальным проблемам славяноведения. М., с. 171—178.
11. Принципы построения резьянского диалектного словаря И. А. Бодуэна де Куртенэ. — В кн.: Межвузовская конференция по исторической лекс-

* Пользуемся этими двумя неологизмами, созданными самим Н. И. Толстым, однако примененные им в другой связи в его монографии «Славянская географическая терминология» (1969).

кологии, лексикографии и языку писателя. 28 сентября — 6 октября 1961 г. Тезисы докладов. Л.: Изд-во ЛГУ, с. 21—22.

1962

12. Из географии славянских слов: 1. 'Дождь'. 2. 'Саламандра'. — В изд.: Вопросы славянского языкознания. Вып. 6. М.: Изд-во АН СССР, с. 140—155.

13. Опыт типологической характеристики славянского члена-артикла. — В кн.: Всесоюзная конференция по славянской филологии. 17—22 декабря 1962 г. Программа и тезисы докладов. Л.: [Изд-во ЛГУ], с. 125—127.

14. Роль древнеславянского литературного языка в истории русского, сербского и болгарского литературных языков в XVII—XVIII вв. — В кн.: Вопросы образования восточнославянских национальных языков. М.: Изд-во АН СССР, с. 5—21.

1963

15. Советское славяноведение. Краткий обзор литературы. 1945—1963 гг. — М.: Изд-во АН СССР, 84 с. (V Международный съезд славистов) (совместно с другими).

16. Взаимотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода. (Вторая половина XVI—XVII в.). — В кн.: Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963 г.). М.: Изд-во АН СССР, с. 230—272.

17. Из опытов типологического исследования славянского словарного состава. [I]. — Вопросы языкознания, № 1, с. 29—45.

18. Роль кирилло-мефодиевской традиции в истории восточно- и южнославянской письменности. — В изд.: Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР, [Вып.] 39. Исторические связи славянских народов. Доклады к V Международному съезду славистов. София, сент. 1963. М.: с. 27—38.

Перев. на укр. яз.: Роль кирилло-мефодіївської традиції в історії східно- і південнослов'янської писемності. — В кн.: Питання походження і розвитку слов'янської писемності. Матеріали наукової сесії сусп. наук АН УРСР, присвяч. 1100-річчю слов'янської писемності. Київ, 1963, с. 30—42. Рез. на рус. яз.

19. Стздаване на койне в славянските езици и неговото влияние върху литературните езици. — В изд.: Славянска филология. Т. I. Отговори на въпросите за научната анкета по езикознание. Матеріали за V Международен конгрес на славистите. София: Изд-во на БАН, с. 44—46.

20. Языкознание [в Югославии]. — В кн.: История Югославии в 2 томах. Т. II. М.: Изд-во АН СССР, с. 280—282.

1964

21. Вплив української словесної культури на південнослов'янську в XVII—XVIII ст. — В кн.: Тези доповідей VI Української славістичної конференції (13—18 жовтня 1964 р.). Чернівці, с. 103—106.

22. Заметки о славянских именах собственных и их транскрипция. — В кн.: Топономастика и транскрипция. М.: Наука, с. 103—121.

23. О некоторых возможностях лексико-семантической реконструкции праславянских диалектов. — В кн.: Проблемы лингво- и этногеографии и ареальной диалектологии. Тезисы докладов. Отв. ред. Н. И. Толстой. М.: Наука, с. 37—39.

1965

24. Из географии славянских слов: 3. Правый — левый. 4. Хорохоритесь. 5. Класть. — В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. (Материалы и исследования). М.: Наука, с. 133—147.

25. Основная литература по топонимике Югославии. — В кн.: Иностранная литература по топонимике. Библиографический обзор. Под ред. В. А. Никонова и А. Г. Симоновой. М.: Книга, с. 28—34.

26. О последней попытке применения «Общеславянской азбуки» к словенскому литературному языку. — В кн.: Проблемы современной филологии. Сборник статей к 70-летию акад. В. В. Виноградова. М.: Наука, с. 260—266.

27. Страничка из истории македонского литературного языка. (Переводы «Любушиного суда» из «Краледворской рукописи» на македонский язык в

XIX в.). — В изд.: Краткие сообщения Института славяноведения. Вып. 43. История славянских литературных языков. М.: Наука, с. 17—34.

1966

28. Архаизм и новаторство у језичкој реформи Вука Караџића. — В изд.: Анали Филолошког факултета Београдског универзитета. Св. 5. Београд, с. 227—234.

29. Из опытов типологического исследования славянского словарного состава. II. — Вопросы языкознания, № 5, с. 16—36.

30. К изучению балтизмов в восточнославянской лексике. — В кн.: Проблемы славянских этимологических исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии. Международный симпозиум [Москва] (24—31 января 1967 г.). Программа. Тезисы докладов. М.: [Наука?], с. 34—35.

1967

31. Из истории собирания и исследования славянской (преимущественно русской) географической терминологии. — В кн.: История топонимики в СССР. Тезисы докладов. М., [Б. и.], с. 14—17.

32. О славянских областных словарях географических терминов. — В изд.: Топонимика. Вып. 2. Материалы Московского филиала Географического общества СССР. М.: [Б. и.], с. 5—8.

33. Старославянский язык. — В кн.: Советское языкознание за 50 лет. 1917—1967. М.: Наука, с. 64—72.

1968

34. К вопросу о зависимости элементов стиля стандартного литературного языка от характера его «стандартности» (на материале славянских языков). — В кн.: Развитие стилистических систем литературных языков народов СССР. [Материалы конференции. 26—28 августа 1966 г.]. Ашхабад: Ылым, с. 124—134.

35. Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии. — В кн.: Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов (Прага, август 1968 г.). Доклады советской делегации. М.: Наука, с. 339—365.

36. О лингвистическом изучении Полесья (предисловие редактора). — В кн.: Полесье. (Лингвистика. Археология. Топонимика). Под ред. В. В. Мартынова и Н. И. Толстого. М.: Наука, с. 5—17.

37. Об изучении полесской лексики (предисловие редактора). — В кн.: Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. Отв. ред. Н. И. Толстой. М.: Наука, с. 3—19.

1969

38. Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды. — М.: Наука, 262 с.

39. Об одном балтизме в восточнославянских диалектах — «пелька». — В кн.: Этимология. 1967. Материалы Международного симпозиума «Проблемы славянских этимологических исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии» (24—31 января 1967 г.). М.: Наука, с. 145—157.

40. Славянские региональные литературные языки и их функции в современном и донациональный период. — В кн.: Славянские литературные языки в донациональный период. (Тезисы докладов). Под ред. Н. И. Толстого и др. М.: [Б. и.], с. 14—16.

1970

41. Еще раз о «семантике» имени собственного. — В кн.: Актуальные проблемы лексикологии. Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной научной конференции (17—20 июня 1970 г.). Минск.: Изд-во БГУ, с. 200—201.

42. К проблеме изучения славянских местных географических терминов. — В кн.: Местные географические термины. (Научные сборники Московск. филиала Географич. о-ва СССР. Вопросы географии. Сб. 81). Отв. ред. 81-го сборника Е. М. Поспелов и Н. И. Толстой. М.: Мысль, с. 46—53.

1971

43. Из блокнота диалектолога: I. Странджанский предикатив нѣма. — В кн.: Исследования по славянскому языкознанию. Сборник в честь шестидесятилетия проф. С. Б. Бернштейна. М.: Наука, с. 381—388.

44. Из великорусской диалектной семантики. — В кн.: Проблемы истории и диалектологии славянских языков. Сборник статей к 70-летию чл.-корр. АН СССР В. И. Борковского. М.: Наука, с. 259—266.

45. Из поэтики русских и сербохорватских народных песен. (Приглагольный творительный тавтологический). — В кн.: Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В. В. Виноградова. Л.: Наука, с. 348—354.

46. Не — не «не». — В кн.: Фонетика. Фонология. Грамматика. К семидесятилетию А. А. Реформатского. М.: Наука, с. 282—287.

47. О традициях и результатах исследований, связанных с этно-лингвистической школой К. Мошинского. — В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. (Тезисы докладов и сообщений [конференции]). 9—12 февраля 1971 г. Л.: Наука, с. 5—7.

48. Серболужицкая литература. — В изд.: Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. М.: Советская энциклопедия, стлб. 775—776.

49. Серболужицкие языки. — В изд.: Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. М.: Советская энциклопедия, стлб. 776—777.

50. Сербскохорватский язык. — В изд.: Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. М.: Советская энциклопедия, стлб. 786—787.

51. Славяноведение. — В изд.: Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. М.: Советская энциклопедия, стлб. 911—915, 925—929.

52. Словацкий язык. — В изд.: Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. М.: Советская энциклопедия, стлб. 953.

53. Словенский язык. — В изд.: Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. М.: Советская энциклопедия, стлб. 958.

1972

54. Из географии славянских слов: 6. Сажа — чад; 7. Пот — зной. — В кн.: Карпатская диалектология и ономастика. М.: Наука, с. 240—257.

55. Rutheno-serbica. — В кн.: Беларускае і славянскае мовознаўства. Да 75-годдзя акад. АН БССР К. К. Крапівы. Мінск: Навука і тэхніка, с. 270—274.

1973

56. Из наблюдений над членом-артиклем и указательным местоимением в южнославянских диалектах. — В кн.: Симпозиум по грамматической типологии современных балканских языков. (15—16 января 1974 г.). Предварительные материалы. М.: Наука, с. 56—57.

57. Из славянской погребальной лексики. — В кн.: Совещание по Общеславянскому лингвистическому атласу (Ужгород, 25—28 сентября 1973 г.). Тезисы докладов. М.: [Б. и.], с. 76—79.

58. К вопросу о классификации славянских диалектов. — В кн.: Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка. Тезисы докладов и сообщений. (Ереван, 2—5 октября 1973 г.). М.: [Б. и.], с. 46—49.

59. К вопросу о лингвистической интерпретации происхождения белорусов. — В кн.: Этногенез белорусов. Тезисы докладов на научной конференции по проблеме «Этногенез белорусов» (3—6 декабря 1973 г.). Минск, с. 141—144.

60. Некоторые перспективы дальнейшего комплексного изучения Полесья. — В кн.: Этногенез белорусов. Тезисы докладов на научной конференции по проблеме «Этногенез белорусов» (3—6 декабря 1973 г.): Минск, с. 165—168.

61. О реконструкции праславянской фразеологии. — В кн.: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов (Варшава, август 1973 г.). Доклады советской делегации. М.: Наука, с. 272—293.

62. Об одной карпатско-южнославянской изопрагме. — В кн.: Симпозиум по проблемам карпатского языкознания (24—26 апреля 1973 г.). Тезисы докладов и сообщений. М.: Наука, с. 50—55.

63. Славянская обрядовая терминология — сравнительно-типологические и лингвогеографические методы ее изучения. — В кн.: Тыпалогія і ўзаемадзейнае славянскіх моў і літаратур. Тэзісы докладаў і паведамленняў II Рэсп. канферэнцыі 17—19 мая 1973 г. Мінск: Выд-ва БДУ, с. 210—212.

64. Взгляды В. В. Виноградова на соотношение древнерусского и древнеславянского литературного языков. — В кн.: Исследование по славянской филологии. Сборник, посвященный памяти акад. В. В. Виноградова. Отв. ред. В. А. Белошапкова, Н. И. Толстой. М.: МГУ, с. 319—329.

65. Из блокнота диалектолога: 2. Рефлект ѣ и 'а в говоре с. Кондолово (Мързево). — В кн.: В память на професор Стойко Стойков (1912—1969). Езиковедски изследвания. София: Изд-во на БАН, с. 179—182.

66. Из заметок по славянской демонологии. Откуда дьяволы разные? — В изд.: Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам 1 (5). Тарту: Тартуский ун-т, с. 27—32.

67. Из эпистолярного наследия А. Белича. — В кн.: Сборник радова о Александру Белићу. Београд, с. 221—230.

68. К семантике правой и левой стороны в связи с другими символическими элементами. — В изд.: Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам 1 (5). Тарту: Тартуский ун-т, с. 42—45. (Совместно с С. М. Толстой).

69. Некоторые вопросы соотношения лингво- и этногеографических исследований. — В кн.: Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л.: Наука, с. 16—33.

70. К проблеме значения слова в славянской исторической лексикологии и лексикографии. — В кн.: Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференции. Октябрь 1975 г., Москва. Вып. 2. Славянская историческая лексикология (семантический анализ древнеславянского слова). М.: Наука, с. 47—51.

71. Лингвистические аспекты исследования славянского язычества. — В кн.: Актуальные проблемы исторической лексикологии восточнославянских языков. Тезисы докладов и сообщений всесоюзной научной конференции (Ноябрь 1975 г.). Днепропетровск: [Б. и.], с. 25—28.

72. О болгаро- и македоно-русских изолексах. — В кн.: Совещание по Общеславянскому лингвистическому атласу (Гомель, 9—12 сентября 1975 г.). Тезисы докладов. М.: [Б. и.], с. 9—14.

73. Противопоставлены ли в современной Славии центральный и маргинальный ареалы? — В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Тезисы третьей конференции на тему «Методика лингво- и этногеографических исследований. Маргинальные и центральные ареалы» (10—12 февраля 1975). Л.: Наука, с. 6—7.

1976

74. Из географии славянских слов: 8. Радуга. — В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М.: Наука, с. 22—76.

Перевод на итал. яз.: Dalla geografia delle parole slave: 'arcobaleno'. — In: Quaderni di semantica 1/81. Bologna, p. 55—98.

75. К вопросу о судьбе славянских кратких и полных прилагательных. — В кн.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфологии современных славянских и балканских языков. М.: Наука, с. 148—166.

76. Ђура Даничић као историјски лексикограф и руска лексикографија XIX в. — В кн.: Научни састанак слависта у Вукове дане. Реферати и саопштења. 5. Београд, с. 495—503.

77. Старинные представления о народно-языковой базе древнеславянского литературного языка (XVI—XVII вв.). — В изд.: Вопросы русского языкознания. Вып. 1. М.: Изд-во МГУ, с. 177—204.

78. «Плакать на цветы» (Этнолингвистическая заметка). — Русская речь, М., № 4, с. 27—30.

79. Из заметок по славянской демонологии: 2. Каков облик дьявольский? — В кн.: Народная гравюра и фольклор в России XVII—XIX вв. М.: Советский художник, с. 288—319.

80. К вопросу о белорусско-(полесско)-болгарских этнолингвистических соответствиях. — В изд.: Бюлетин за съпоставително изследване на българ-

ския език с други езици, год. I, София, бр. 5, с. 79—88 (совместно с С. М. Толстой).

81. Zu einigen südslawisch-russischen lexikalischen Parallelen. — In: Zeitschrift für Slawistik, Bd. XXI, Berlin, Heft 6, S. 834—838.

1977

82. К историко-культурной характеристике «славяно-сербского» литературного языка. — В кн.: Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М.: Наука, с. 267—281.

83. О соотношении центрального и маргинальных ареалов в современной Славии. — В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л.: Наука, с. 37—56.

84. Уз проблем словенских лексичких изоглоса. Српскохрватска лексика у општесловенском оквиру. — В изд.: Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд. Приштина, Тршић, 1976. Реферати и саопштења... 13—19. IX. 1976. Књ. 6, св. I. Београд, с. 113—121. Рез. на рус. яз.

85. Скрытый плач по покойнику. Русско-сербская фольклорная параллель. — В кн.: Сборник Владимира Мошина. Београд, с. 255—258.

86. О возможности исследования Полесья как модели славянского этнолингвистического состояния. — В кн.: XIV републиканска диалектологична нарада. Тези доповідей, Київ, с. 11—13.

87. О болгаро-русских изолексах. II. — В кн.: Сопещение по Общеславянскому лингвистическому атласу. (Черновцы, 4—7 октября 1976 г.). Тезисы докладов. М.: [Б. и.], с. 135—138.

88. Заметки по славянской фразеологии: здрав као риба. — Zbornik godova povodom 70. godišnjice života akademika Jovana Vukovića. Sarajevo, 1977, s. 397—405.

1978

89. Литературный язык у сербов в конце XVIII — начале XIX века. — В кн.: В. В. Виноградов. Избранные труды. История русского литературного языка. М.: Наука, с. 269—328.

90. Труды В. В. Виноградова по истории русского литературного языка. — В кн.: В. В. Виноградов. Избранные труды. История русского литературного языка. М.: Наука, с. 1—9.

91. О славянских названиях деревьев: **сосна** — **хвоя** — **бор**. — В кн.: Восточнославянское и общее языкознание. М.: Наука, с. 115—127.

92. О непоследовательности первой палатализации заднебных согласных. I. — В изд.: Linguistica XVII, Ljubljana, s. 33—47.

93. К реконструкции древнеславянской духовной культуры (лингво- и этнографический аспект). — В кн.: Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов (Загреб-Любляна, сентябрь 1978 г.). Доклады советской делегации, М.: Наука, с. 364—385 (совместно с С. М. Толстой).

94. Заметки по славянскому язычеству: 2. Вызывание дождя в Полесье. — В кн.: Славянский и балканский фольклор. Генезис. Архаика. Традиции. М.: Наука, с. 95—130 (совместно с С. М. Толстой).

95. О диалектологии славянской мифологии. — В кн.: Проблеми дослідження діалектної лексики і фразеології української мови. Тези доповідей. Ужгород, с. 188—190.

96. Некоторые балтийско-славянские параллели из области архаической духовной культуры. — В кн.: Конференция «Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом». М.: Наука, с. 134—135 (совместно с С. М. Толстой).

97. О непоследовательности первой палатализации заднебных согласных. II. — В изд.: Filologija, Zagreb, br. 5, s. 355—361.

98. Ареальные аспекты изучения славянской духовной культуры. — В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Краткие сообщения. Л.: Наука, с. 46—47 (совместно с С. М. Толстой).

1979

99. Д. К. Зеленин-диалектолог. — В кн.: Проблемы славянской этногра-

фии (к 100-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР Д. К. Зеленина). Л.: Наука, с. 70—83 (совместно с С. М. Толстой).

100. Литературный язык [у] сербов в XVIII в. (до 1780 г.). — В кн.: Славянское и балканское языкознание. История литературных языков и письменность. М.: Наука, с. 154—197.

101. Этногенетический аспект исследований древней славянской духовной культуры. — В кн.: Комплексные проблемы истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы. Итоги и перспективы исследований. М.: Наука, с. 17—26.

102. О целесообразности применения некоторых лингвистических понятий к описанию славянской духовной культуры (СДК). — В кн.: Вторичные моделирующие системы. Тарту, с. 51—54 (совместно с С. М. Толстой).

103. О жанре «обмирания» (посещения того света). — В кн.: Вторичные моделирующие системы. Тарту, с. 63—65 (совместно с С. М. Толстой).

104. Один архаический тип обрядового текста-диалога. — В кн.: *Balkano-balto-slavica*, М., с. 69.

105. К семантике и структуре сербских заклинаний градовой тучи. — В кн.: *Balkano-baltoslavica*, М., с. 70—75. (совместно с С. М. Толстой).

106. Элементы народного театра в южнославянской святочной обрядности. — В кн.: Театральное пространство. Материалы научной конференции (1978). Гос. музей изобразит. искусств им. А. С. Пушкина. М.: Советский художник, с. 308—326.

107. Из блокнота диалектолога: 3. Контракция гласных в с. Горска поляна, Елховско. — В кн.: Исследования върху историята и диалектите на българския език. София, с. 353—358.

108. Славянские языки. — В изд.: *Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Radovi. Knj. LXIV. Odjeljenje društvenih nauka, knj. 20. Sarajevo*, s. 11—22.

1980

109. Атлас духовной культуры Полесья — лингвистический, фольклорный и этнографический аспекты. — В кн.: Регіональні традиції на усходнеславянських мовах, літературах і фольклорі. Тезиси докладаў II республіканскай навуковай канферэнцыі 25—26 верасня 1980 г. Гомель, с. 16—18.

110. Неравномерность развития звеньев языковой и мифологической системы в этнолингвистическом аспекте. — В кн.: II Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. Диалектика развития языка. М.: Наука, с. 80—82.

111. Обзор ответов на анкету об ономастических ареалах. — В кн.: Перспективы развития славянской ономастики. М.: Наука, с. 169—179.

1981

112. Вербальный текст как ключ к семантике обряда. — В кн.: Структура текста — 81. Тезисы симпозиума. М.: Наука, с. 46—47.

113. Заметки по славянскому язычеству: 5. Защита от града в Драгачеве и в других сербских зонах. — В кн.: Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст. М.: Наука, с. 44—120 (совместно с С. М. Толстой).

114. И. И. Срезневский — диалектолог. — В кн.: Из истории славяноведения в России. (Ученые записки Тартуский ун-т. Труды по русской и славянской филологии). Тарту, с. 27—45.

115. Конкуренција и коегзистенција норми у књижевном језику XVIII века код Срба. — В изд.: Научни састанак слависта у Вукове дане. 10. Београд, с. 33—40.

116. Некоторые вопросы текстологии публикации русских литературных памятников XVIII в. — Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 40, № 4, с. 312—324 (совместно с другими).

117. Заметки по славянскому язычеству: I. Вызывание дождя у колодца. — В изд.: Русский фольклор. Т. XXI. Поэтика русского фольклора. Л.: Наука, с. 87—98 (совместно с С. М. Толстой).

118. Мысли Н. С. Трубецкого о русском и других славянских литературных языках. — В кн.: Язык и речь как объекты комплексного филологического исследования. Межвузовский тематический сборник. Калинин, с. 98—119.
119. О некоторых этнолингвистических наблюдениях А. А. Потебни. — В кн.: Потебнянські читання. Київ: Наукова думка, с. 68—81.
120. Сербское народно-поэтическое облак — 'жених'. — В кн.: Структура текста — 81. Тезисы симпозиума. М.: Наука, с. 170—171.
121. Культурно- и литературно-исторические предпосылки образования национальных литературных языков (на материале сербо-хорватского, болгарского и словенского языков). — В кн.: Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Исторические и историко-культурные аспекты. М.: Наука, с. 122—134.

1982

122. Из «грамматики» славянских обрядов. — В изд.: Труды по знаковым системам XV. Типология культуры. Взаимное воздействие культур. (Ученые записки Тартуский ун-т. Вып. 576). Тарту, с. 57—71.
123. Однос старог српског књижног језика према старом словенском језику. — В изд.: Научни састанак слависта у Вукове дане. 8. Београд, с. 15—25.
124. Заметки по славянскому язычеству: 3. Первый гром в Полесье. 4. Защита от града в Полесье. — В кн.: Обряды и обрядовый фольклор. М.: Наука, с. 49—83 (совместно с С. М. Толстой).
125. Украинский материал в этнолингвистическом словаре славянских народных древностей (ЭСНД). — В кн.: Лексика української мови в її зв'язках з сусідніми слов'янськими і неслов'янськими мовами. Тези доповідей. Ужгород, с. 26—27.
126. Некоторые проблемы и перспективы славянской и общей этнолингвистики. — Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 41, М., № 5, сент-окт., с. 397—405.

СЫРИЛЛО-МЕТОДИАНА В РОССИИ

С. Б. Бернштейн

I

Кирилло-мефодиевская проблематика, включающая в себя изучение всех сторон жизни и деятельности Солунских братьев, их учеников и последователей, в XIX веке стояла в центре научных интересов славистов разных стран. Особенно большое внимание ей уделяли русские слависты. Именно их деятельность определяла характер и направление изучения всех аспектов древнеславянской письменности. В значительной своей части это объясняется тем, что русские хранилища рукописей и книг старой печати по богатству своих фондов не имеют себе равных. Высоко оценивая труд И. Добровского «Cyrill und Method der slawen Apostel. Ein historisch-kritischer Versuch» (Прага, 1823), А. Х. Востоков одновременно с этим считал, что чешский ученый смог бы добиться лучших результатов, если бы имел возможность привлечь данные памятников, хранящихся в русских рукописных собраниях. «Если бы почтеннейший богемский филолог, коему славянская литература столько обязана, имел перед собой XI-го или XII-го века письменные памятники, сохранившиеся в России, он домог бы, смеем думать, во многом инаковых и более твердых положений»¹. Слова Востокова отлично подтвердили труды русских славистов XIX в.

В России деятельность Солунских братьев и их учеников изучали представители двух областей: славяноведения и богословия. Между трудами славистов и богословов не было непреодолимой стены. Это выражалось в том, что и в ученой литературе сильны были богословские мотивы, что заметно снижало уровень научной критики текстов. Об этом еще в 1868 г. писал известный русский историк В. А. Бильбасов: «Пособия по истории Кирилла и Мефодия многотомны; но до настоящего времени немногие из них удовлетворяют требованиям науки». Объяснял это обстоятельство Бильбасов тем, что филологи некритически подходят к сообщениям древних текстов. Они забывают, что «мы принуждены почерпать эти сведения из легенд, из житий, — из источника

довольно смутного, вызывающего сомнения каждой строчкой, каждым словом»². Нередко сами охранители церковной ортодоксии врываются в сферу славяноведения, обличая ученых в нарушении религиозных догматов и церковных узаконений. Один из таких эпизодов, связанный с именами П. И. Кеппена, Е. А. Болховитинова (митрополита Евгения), графа Н. П. Румянцева, попечителя Казанского учебного округа М. Л. Магницкого и др., будет рассмотрен в данной статье.

С января 1825 г. по май 1826 г. в Петербурге издавался журнал «Библиографические листы». Его основал и вел при материальной поддержке графа Румянцева Петр Иванович Кеппен (1793—1864). Всего вышло 43 номера журнала (в 1825 г. — 33 номера, в 1826 г. — еще 10 номеров). Первый номер вышел из печати 6 января 1825 г., последний 43 номер — 28 мая 1826 г. А. А. Кочубинский ошибочно утверждал, что последний номер журнала вышел в августе 1826 г. «Библиографические листы» печатались в четверку в два столбца. Пагинация была общей для всего издания. На последнем столбце последнего номера указано 647³.

В литературе, посвященной «Библиографическим листам», было широко распространено ошибочное мнение, что данное издание представляло собою международный журнал, в котором принимали участие многие русские и зарубежные авторы. В результате всестороннего анализа всех номеров журнала выяснилось, что за редким исключением все статьи, аннотации и заметки журнала писал его редактор, П. И. Кеппен. Эпизод, о котором пойдет дальше речь, связан с откликами журнала на указанную выше монографию И. Добровского.

В 8 номере журнала П. И. Кеппен опубликовал подробную аннотацию с некоторыми извлечениями из монографии Добровского под названием «Критическое исследование о Кирилле и Мефодии». «Объявляемая книга, недавно здесь полученная, по своему содержанию заслуживает особенное внимание словенских филологов. Имя автора, столь справедливо превозносимое литераторами всех племен словенских, автора, наторевшего в критических изысканиях, было уже достаточно к вынесению приятного предупреждения в пользу сочинения сего. Считаю долгом представить нашим читателям из одного сколь можно краткое извлечение» (стлб. 101). Завершая свою аннотацию, Кеппен пишет: «Не сомневаясь в том, что такое суждение заметного филолога заставит разных исследователей подвергнуть оное рассмотрению; мы уверены, что и в противоположных мнениях недостатка не будет, и охотно принимаем на себя обязательность доводить до сведения наших читателей то, что и впредь по сему предмету покажется нам достойным их внимания» (стлб. 116). Это обещание редактор выполнил уже в 10 номере журнала. В этом номере была опубликована аннотация критического разбора моно-

графии Добровского Ф. Блумбергером, напечатанного в известном венском журнале «*Jahrbücher der Literatur*» (XXVI, стр. 211—235). Редактор сочувственно аннотирует рецензию. По его мнению, «трудно, кажется, не принять во уважение замечаний г-на рецензента» (стлб. 145). Иначе отнесся к этой рецензии сам Добровский. Он полагал, что рецензия инспирирована Е. Копитаром. «Сам Добровский считал Блумбергера лишь подставной фигурой, за которой скрывался Копитар», — писал И. В. Ягич⁴.

В истории русской бюрократии хорошо известна мрачная фигура М. Л. Магницкого. В молодые годы он был сотрудником М. М. Сперанского, после отстранения последнего был сослан в Вологду. Позже вошел в доверие к А. А. Аракчееву и с его помощью стал симбирским губернатором. В 1819 году сблизился с А. Н. Голицыным по службе в министерстве духовных дел и просвещения. Затем он был попечителем Казанского учебного округа. Прославился разгромом местного университета. В 1826 году за растрату казенных денег вынужден был выйти в отставку. Этот заключительный эпизод в его государственной службе хронологически связан с доносом на редактора «Библиографических листов».

Вскоре после выхода из печати десятого номера журнала Магницкий на имя министра народного просвещения А. С. Шишкова составил следующее «доношение». «Чсть имею донести В. В., что в газете «Библиографические листы», № 8, 9 и 10, заключаются статьи, кои гражданская цензура, на основании Высочайших указов 29 июля 1787, подтвержденного 9-го февраля 1802 и 19-го ноября 1824 годов, не вправе была пропустить. Статьи сии, основанные на иноземных сочинениях, содержат в себе: 1. Обличения святцев наших, церковию утвержденных и издаваемых, в неверности. 2. Совершенно искаженное превращение жизнеописаний св. Кирилла и Мефодия, в опровержение священно-церковной книги, Четьи-Минеи, клонящееся к тому, чтобы доказать, в противность положительному преданию церкви, что не они переводили наши священные книги. 3. Клевету на Святополка, исповедывавшего православную веру, якобы он заставлял народ свой веровать то Христу, то дьяволу, и другие подобные сему непозволительные и вредные нелепости. По моему мнению, ежели не самый журнал сей, то №№ одного 8, 9 и 10 подлежат запрещению, а на будущее время нужно взять ту осторожность, чтобы статьи о духовных книгах были просматриваемы духовною цензурою»⁵.

По мнению некоторых деятелей того времени, министр народного просвещения должен был прекратить дальнейшее продвижение «доношения» за его очевидной несостоятельностью. Так, напр., думал граф Н. П. Румянцев. В своем письме министру он с негодованием отрицает право невежественных церковников вторгаться в дела науки. Но адмирал Шишков, профессионально

вполне подготовленный, чтобы не давать дальнейшего хода делу, на суше оказался трусливым человеком. Он направил «доношение» директору канцелярии министерств князю П. А. Ширинскому-Шихматову с указанием разобратся, в какой степени претензии Магницкого справедливы. И для директора канцелярии филология не была «закрытой книгой». Он хорошо знал древние славянские тексты, принимал деятельное участие в составлении словаря церковнославянского и русского языков. Однако и он не осмелился самолично прекратить дело. Он направил Кеппену копию «доношения» с сопроводительным письмом за № 496. Кеппену предстояло дать ответы по всем пунктам обвинения. Сравнительно быстро Кеппен составил обширный ответ. В сопроводительной бумаге на имя Ширинского-Шихматова он пишет: «Вследствие отношения В. С. за № 496, последовавшего по случаю доношения г. попечителя Казанского учебного округа М. Л. Магницкого, имею честь препроводить к Вам, М. Г., для доклада Е. В. г. Министру народного просвещения прилагаемые при сем объяснения, которые подвергаю самому строгому суду моего начальства».

Объяснительная записка Кеппена написана не только серьезным ученым, но и человеком высокого гражданского мужества, которого так не доставало ни Шишкову, ни Ширинскому-Шихматову. Кеппен четко и определенно разграничивает богословие от истории. «Сии два предмета, святое учение веры и исследования чисто исторические, надлежит всегда различать логическим порядком. Смешение же их было и будет поводом к многим несправедливым суждениям и ошибочным заключениям»⁶.

Основное место в объяснительной записке Кеппен уделит первому пункту «доношения». Расхождения в дошедших до нас текстах — обычное явление. «Представим себе только разность стран и веков, в которые жили св. подвижники веры, разность обстоятельств, при которых описывали их житие летописцы и историки; взглянем на разность списков и разность языков и наречий старинных рукописей, и мы найдем здесь ясные причины, почему не во всем между собою сходны все Месяцесловы»⁷. Так, жития Кирилла и Мефодия в Четьи-Минеи помещены под 11 мая, тогда как в Прологе под 14 февраля. И таких примеров можно привести много. Различного рода расхождения уже давно являются предметом специальных и богословских исследований. Подобные исследования «ни в каком случае не можно называть обличением святцев в неверности»⁸. В этом пункте Кеппен опирался на весь предшествующий опыт изучения житийных текстов.

Ответить на второй пункт «доношения» Магницкого не представляло большого труда, так как в опубликованных статьях нигде не ставилось под сомнение, что первые переводы священных книг были выполнены Кириллом и Мефодием. «О том же,

чтобы не св. Кирилл и не св. Мефодий переводили на словенский язык священные книги, по сие время, сколько мне известно, никто еще не сомневался, и первый, изрекающий сие мнение, ныне есть сам г. попечитель Казанского учебного округа»⁹.

Третий пункт «доношения» относился к князю Святополку. Здесь попечитель учебного округа обнаружил отсутствие элементарных сведений из истории. В «Библиографических листах» речь шла о враге славянского богослужения князе Святополке Моравском. Магницкий же решил, что автор имеет в виду киевского князя Святополка. Кеппену пришлось напомнить «ученому» критику, что Добровский пишет «не о российском Великом Князе Святополке, исповедывавшем православную веру Восточной Церкви и жившем после Моравского спустя почти полтора десятилетия лет, и именно уже в XI веке»¹⁰. Кроме того, утверждение, что Святополк заставлял свой народ веровать то Христу, то дьяволу, принадлежит самому Магницкому. В «Библиографических листах» речь шла о том, что Святополк был врагом славянского богослужения. После смерти Мефодия в 885 году по указанию папы Стефана V богослужение в Моравии вновь перешло на латинский язык.

После получения разъяснения Кеппена Шишков сделал второй непростительный поступок. Теперь он уже имел все основания закрыть дело. Однако он не нашел ничего лучшего, как передать дело петербургскому митрополиту Серафиму. Это вызвало негодование не только в академических кругах. По настоянию графа Румянцева в состав церковного суда был включен митрополит Евгений (Болховитинов). Суд состоялся в Петербурге. Кеппен единогласно был оправдан по всем пунктам. Митрополит Серафим 18 августа 1825 года направил Шишкову официальный ответ, который гласил: «Конференция, в совокупности с членами цензурного комитета, рассмотрев, как обвинительные пункты г. попечителя Казанского университета. (Здесь ошибка. Магницкий был попечителем Казанского учебного округа, а не университета — С. Б.), так и ответ на оные г. Кеппена, представила мне, что она находит ответ сей (ответ Кеппена — С. Б.) основательным и удовлетворительным, каковым и я его нахожу»¹¹. Лишь после этого письма адмирал Шишков осмелился прекратить дальнейшее расследование.

В специальной литературе можно найти утверждение, что в результате «доношения» Магницкого журнал «Библиографические листы» был закрыт. Последнее по времени принадлежит Р. М. Цейтлин. «Журнал («Библиографические листы» — С. Б.) издавался на средства Н. П. Румянцева, но был закрыт по доносу М. Л. Магницкого»¹². Это не соответствует действительности. Кеппен был оправдан. Журнал продолжал выходить регулярно до мая 1826 года. Известный библиограф Н. В. Здобнов объясняет прекращение журнала иначе — «Преобладание фило-

логии, ограничение критико-библиографических задач только рассмотрением «ученых книг», уход в сторону от боевых вопросов тогдашней жизни, все это крайне засушило «Библиографические листы», вызвало лестное внимание со стороны узкого круга ученых специалистов, но не встретило поддержки со стороны широкого круга читателей... Оторванность «Листов» от жизни и читателей осознал и сам Кеппен, прекратив их издание»¹³. И это толкование нужно отвергнуть самым решительным образом. Тематика журнала интересовала не только узких специалистов. Следует иметь в виду, что вопросами филологии в первой половине XIX в. интересовались далеко не только специалисты. Достаточно полистать «Вестник Европы» и ряд других журналов. «В 1816 г. «Вестник Европы» продолжал оставаться верным раз принятой на себя задаче знакомить русское общество со славянским миром вообще и славянскими языками в частности»¹⁴. Никогда позже русские журналы общего направления не публиковали так много специальных статей по языкознанию и филологии. Не соответствует действительности утверждение Здобнова, что в журнале Кеппена реферировались только «ученые книги». О какой оторванности от жизни «Библиографических листов» можно говорить, если вспомнить, что в самый канун восстания декабристов Кеппен публикует в своем журнале произведение декабриста Рылеева! Кеппен прекратил издание журнала прежде всего по весьма прозаической причине. В начале 1826 г. скончался граф Н. П. Румянцев, на средства которого Кеппен издавал свой журнал. Журнал был убыточным, своих средств для продолжения журнала у Кеппена не было. Вероятно, сыграла свою роль и общественная атмосфера, которая утвердилась в России после поражения декабристов.

II

В 1911 году профессор Петербургского университета Н. В. Ястребов опубликовал пособие для студентов, содержавшее источники для истории жизни и деятельности Солунских братьев — Константина-Философа и Мефодия¹⁵. Это издание могло бы принести большую пользу, так как аналогичного пособия в те годы в России не существовало. Вскоре в «Правительственном вестнике» (30 октября 1911 года № 232) профессор Казанского университета Н. М. Петровский без подписи опубликовал краткую рецензию на сборник. Рецензент пишет, что «такое пособие давно является насущной потребностью не только в Петербургском, но и в каждом другом университете, где ведутся практические занятия по славянской филологии». Вместе с тем Н. М. Петровский высказывает ряд справедливых критических замечаний. Главное замечание — «г. Ястребов поступил без сомнения неправильно, не дав в «Сборнике» никаких сведений о

рукописях и печатных изданиях, в которых собранные здесь тексты могут быть найдены в полном виде (некоторые источники напечатаны г. Ястребовым с сокращениями) и иногда с комментариями. Из разбираемой книги учащийся не узнает даже, с какого времени известен в науке тот или другой источник. «Сборник» обладает вполне достаточной полнотой и, вероятно, принесет пользу студентам, которые пожелают основательнее ознакомиться с первоисточниками по Кирилло-мефодиевскому вопросу» (с. 5).

20 ноября 1911 года Ястребов отправил редактору «Правительственного вестника» письмо следующего содержания (привожу в сокращении): «Многоуважаемый г. редактор. В редактируемой Вами газете появилась рецензия на изд. мною «Сборник источ. по истории жизни и деятельности Св. К. и М.». Считаю долгом разъяснить Вам, что и появление этой рецензии, и ее содержание — результат неосведомленности и некотор. литер. халатности (о некорректности не хотелось бы думать) ее составителя. Дело в том, что «Сборник» не поступал на книжный рынок и не предназначен ни для кого, как только для меня и занимающихся под моим руководством в Семинарии слав. студентов и курсисток. Поэтому он имеет именно такой, а не иной вид. Все, что касается напечатанных в нем текстов, сообщается мною на занятиях или разыскивается занимающимися по моим указаниям. В силу своего назначения «Сборник» напечатан в самом ограниченном количестве экземпляров, применительно к числу участников занятий у меня. Несколько свобод. экземпляров, оставшихся у меня, я роздал своим ученым друзьям, которым он мог быть полезен и нужен, с разъяснениями происхождения и характера «Сборника». И, конечно, никто из них не мог бы обсуждать «Сборник» в печати ни вообще, ни с тех точек зрения, которые приведены в упомянутой рецензии, в частности. Остается предполагать, что кто-то загадочным для меня образом добыл экз. «Сборника», неподходящим образом использовал его. После работы над материалом «Сборника» в семинарии, м. б., через 1—2 года, я намерен выпустить такой же «Сборник» для общественного пользования, в соответствующем тому виде. Тогда каждый вправе будет публично обсуждать мою работу». Уже 26 ноября с.г. редакция «Правительственного вестника» отправляет Петровскому в Казань копию письма Ястребова с кратким сопровождением. «Редакция весьма сожалеет, что Ваша рецензия поставила редакцию «Пр. Вест.» в очень неловкое положение перед автором «Сборника». 3 декабря датируется ответ Петровского. Ответ написан с большим достоинством и весьма убедительно показывает неосновательность претензий Ястребова. Прежде всего Петровский сообщает, что книгу он «добыл» не загадочным образом, а получил ее от самого Ястребова. «Откуда читатель «Сборника», не получивший никаких особых «разъяс-

нений» автора, может знать, что эта книга не поступила «на книжный рынок», когда и на обложке и на заглавном листе напечатано: «цена 1 р. 50 к.»¹⁶.

В заключение следует указать, что Ястребов не выполнил своего обещания опубликовать в будущем комментированный сборник кирилло-мефодиевских текстов. К сожалению, нет такого издания у нас и ныне, что весьма затрудняет подготовку квалифицированных славистов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Материалы для истории просвещения в России, собираемые Петром Кеппеном, т. II. Библиографические листы, Спб., 1826, с. 351.
2. Бильбасов В. А. Кирилл и Мефодий, ч. I, Спб., 1868, с. 3.
3. Подробно о структуре журнала, его содержании, об авторах см.: С. Б. Бернштейн. Библиографические листы П. И. Кеппена, Известия АН СССР. Серия литературы и языка, 1982, № 1, с. 47—58.
4. Ягич И. В. История славянской филологии, Спб., 1910, с. 129.
5. Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1864, книга вторая, с. 143.
6. Там же, с. 149.
7. Там же, с. 148.
8. Там же, с. 149.
9. Там же, с. 152.
10. Там же, с. 157.
11. Там же, с. 161.
12. Там же, с. 161.
13. Здобнов Н. В. История русской библиографии, т. I, М., 1944, с. 146.
14. Булич С. К. Очерк истории языкознания в России, т. I, Спб., 1904, с. 1159.
15. Сборник источников для истории жизни и деятельности Кирилла и Мефодия, апостолов славянских. Сост. Н. В. Ястребов. Спб., 1911.
16. Письма Н. В. Ястребова и Н. М. Петровского хранятся в моем архиве.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ Ю. И. ВЕНЕЛИНА

Г. К. Венедиктов

Важным моментом биографии Ю. И. Венелина была попытка получить славистическую кафедру в Московском университете. В историографии эта попытка связывается с тем, что в соответствии с новым университетским уставом 1835 г. в Московском и других университетах России на I (словесном) отделении философского факультета вводился новый учебный предмет «История и литература славянских наречий» [1, стлб. 971] и в связи с этим открывалась кафедра по этому предмету. Попытка Венелина получить эту кафедру, как известно, не увенчалась успехом. Этот факт научной биографии Венелина, сыгравший несомненно свою роль в последующей жизни самого слависта и сказавшийся, хотя и косвенно, на начальном развитии славяноведения в Московском университете, давно вызывает интерес исследователей и тем, что с ним непосредственно связано создание Венелиным первой в России программы университетского курса по славяноведению.

Несмотря на оправданный интерес историков славяноведения и биографов Венелина к его попытке занять славистическую кафедру в Московском университете, этот факт его короткой научной биографии освещен в литературе, как будет видно, неполно и, к сожалению, весьма неточно. Опираясь на публикуемые ниже документы и установленные ранее данные, мы попытаемся показать, как в действительности обстояло дело с этим значительным и, наверно, драматическим моментом в жизни Венелина, доставившим ему немало понятных огорчений и обид.

Важные материалы, имеющие непосредственное отношение к данному вопросу, содержатся в деле «О препоручении преподавания славянского языка при Московском университете лекарю Юрию Венелину», хранящемся в архивном фонде Московского университета [2]. В нем имеются следующие документы: 1) прошение Венелина в Совет Московского университета от 14 марта 1834 г.; 2) выписка из протокола заседания Совета от 14 марта

1834 г.; 3) отзыв проф. И. И. Давыдова о «Грамматике нынешнего болгарского наречия» Венелина; 4) выписка из протокола заседания Совета от 2 мая 1834 г.; 5) письмо Совета в Отделение словесных наук университета и 6) черновое письмо секретаря Совета Н. И. Надеждина к Венелину от 21 мая 1834 г. Из названных материалов только письмо Надеждина неоднократно публиковалось полностью или излагалось в трудах ряда исследователей [3, 44; 4, 121; 5, 212], другие материалы оставались до сих пор вообще неизвестными; третьи — только упоминались или кратко излагались, например, отзыв Давыдова [6, 176; 7, 180—182].

Рассмотрим эти документы.

Побуждаемый историком М. П. Погодиным и, возможно, кем-либо другим из своих друзей, Венелин 14 марта 1834 г. подал в Совет Московского университета прошение следующего содержания [2, л. 1]:

«В Совет Императорского Московского университета
от лекаря Юрия Венелина.

Кончив поручение Императорской Российской Академии объяснением болгарских грамот, собранных мною в Молдавии, Валахии и Болгарии во время путешествия моего в сих странах в 1830—1831 годах, и сочинением Грамматики болгарского наречия, извлеченной из памятников оного и живого употребления, я нахожусь теперь в возможности предложить свои услуги Императорскому Московскому Университету. Если Совету благоугодно будет поручить мне преподавание славянского языка, доселе непрерывно продолжающегося, то я употреблю все свое старание, чтоб принести пользу слушателям своим сведениями, сколько их имею по сей части. Болгарскую грамматику, мною приготовленную для Академии, при сем имею честь представить в свидетельствах оных.

1834 марта 14

Лекарь Юрий Венелин».

В тот же день, 14 марта 1834 г., состоялось заседание Совета университета, на котором было рассмотрено прошение Венелина. О принятом Советом решении можно судить по следующей выписке из протокола его заседания [2, л. 2]:

«26. Прошение лекаря Иурия Венелина от 14-го сего марта о препоручении ему преподавания славянского языка при Московском университете. При сем представил Болгарскую грамматику, им составленную. Определено: так как преподавание славянского языка, существовавшее и прежде сего в университете, было весьма полезно возобновить для полноты филологического изучения и для отечественного, то означенную Болгарскую грамматику препроводить при выписке из журнала Совета г. ор. пр.

Давыдову, как профессору языка российского, с тем, чтобы по получении его отзыва об оной приступить к рассуждению о возможности и средстве поручить преподавание славянского языка г. Венелину».

В соответствии с решением Совета Давыдову была, судя по всему, направлена выписка из данного решения. Давыдов требуемый Советом отзыв о «Грамматике» Венелина представил 2 мая 1834 г. — в день, когда состоялось заседание Совета, на котором рассматривался отзыв Давыдова и было принято известное решение о поручении Венелину составить конспект-программу лекций. Отзыв — «донесение профессора Давыдова» — написан на бланке Совета Московского университета. Ниже следует полный текст этого отзыва [2, л. 3—4]:

«В Совет Императорского Московского университета.

По препоручению Совета рассматривал я Грамматику нынешнего болгарского наречия, составленную Юрием Венелиным. Имею честь представить Совету мнение мое о способе воззрения сочинителя Грамматики на свой предмет и о степени достоинства оной в отношении к изучению отечественного нашего языка.

Расположение Грамматики следующее: об именах существительных, словопроизводных формах, числе, склонении, прилагательных, числительных, местоимениях, глаголах, категориях глагольного возрастания, спряжениях, требованиях глаголов, причастиях, предлогах, наречиях, союзах, словосочинении и напеве. В конце приложено на болгарском наречии житие св. Параскевии.

Что касается до теоретической части Грамматики, то справедливость требует признать основательные филологические знания сочинителя. Глава о словопроизводных формах в особенности любопытна и отлично хорошо составлена. При сем однако не могу не заметить, что у г. Венелина встречаются и парадоксы грамматические. Так на[пример] (стр. 317) он отделяет синтаксис от грамматики, как особую науку; разделение глагола (стр. 159) неопределенно. Гаррис, Бернгарди, Добровский и другие трудились по части общей и частных Грамматик именно с тою целию, чтоб разнообразные видоизменения языков привести к немногим простым началам человеческого слова, которые повторяются и в глаголе славянских наречий.

В отношении историческом основная мысль г. Венелина та, что славяноцерковный язык наш есть староболгарский. После глубоких соображений и исследований Шлецера, Добровского, Блумбергера, Карамзина, Востокова, я почитаю излишним опровергать сие мнение. Добровский подтверждает свои исследования сходством церковного языка с памятниками древнего сербского. Но стоит только прочесть любое место из упомянутого жития св. Параскевии, чтоб удостовериться, что древний эллинский язык, по доводам Экономида, столько же сходен с нашим

церковным, сколько и старо-болгарский, по указаниям г. Венелина.

В рассуждении степени достоинства сего сочинения в отношении к изучению отечественного языка, я полагаю, что, для соображений филологических в каждом славянском наречии, необходимо знание других славянских наречий, по крайней мере историческое. Посему и Болгарская грамматика, составленная г. Венелиным, если только переложена будет на чистый русский язык, может быть полезным руководством при грамматических исследованиях. Я не думаю, чтоб нужно было у нас преподавать грамматику болгарского языка отдельно: это значило бы отнимать у учащихся драгоценное время, которого, при многих предметах Словесного отделения, едва достаёт на изучение отечественного языка, требующее и чтения писателей, и собственного упражнения учащихся в сочинениях. Объяснение же соотношений между славянскими наречиями, указание на письменные памятники каждого из оных — вообще история славянских наречий и словесности действительно составила бы новый, весьма полезный предмет для учащихся словесным наукам.

Сим ограничиваю мнение мое о Грамматике г. Венелина. Не зная болгарского наречия, не могу я произнести суждения своего о верности и точности грамматических исследований в частности. Это самое и лишает меня удовольствия засвидетельствовать пред Советом всю важность труда ученого и достойного уважения.

Профессор Иван Давыдов».

На основании приведенного отзыва Давыдова и, надо полагать, состоявшегося обмена мнениями Совет университета 2 мая 1834 г. принял известное решение о поручении Венелину составить «конспект преподавания истории славянского наречия и литературы вообще». В выписке из протокола заседания Совета зафиксировано следующее [2, л. 5—6]:

«Донесение г. ор. пр. Давыдова, в коем (излагает? — слово неразборчиво. — Г. В.) свое мнение относительно препровожденной к нему для рассмотрения по определению Совета Грамматики нынешнего болгарского наречия, составленной лекарем Венелиным. Определено: Как г. Венелин представил сие сочинение для доказательства своих трудов и сведений с тем чтобы Совет признает нужным поручить ему преподавание славянского языка при Университете, то Совет, усматривая из мнения г. Давыдова, что сочинение сие показывает основательные познания в сочинителе, и находя, что история славянских наречий и словесности могла бы составить весьма полезный предмет для учащихся наукам словесным, особенно в Московском университете, определил: предложить Венелину составить конспект преподавания истории славянского языка и литературы вообще и представить в Словесный факультет на рассмотрение, о чем

известить его (предложить? — слово неразборчиво. — Г. В.) секретарю Совета с возвращением представленной Грамматики; словесному факультету дать о сем знать, с тем чтобы он, получив требуемый конспект от г. Венелина, представил о нем Совету свое мнение».

Через три недели, 21 мая 1834 г., Совет университета специальным письмом за № 453 уведомил Словесное отделение о принятом им решении [2, л. 7]:

«В Отделение словесных наук

Совет сообщает оному отделению, что от лекаря Юрия Венелина имеет быть представлен конспект преподавания истории славянского языка и литературы вообще, вследствие определения Совета от 2-го сего мая для рассмотрения, по учинении коего отделение не оставит представить по оному Совету свое мнение для соображения по имеющемуся делу касательно г. Венелина».

В тот же день, 21 мая 1834 г., секретарь Совета Н. И. Надеждин направил Венелину письмо, в котором известил его о решении Совета, принятом 2 мая. В рассматриваемом деле хранится черновой текст этого письма [2, л. 8]:

«Милостивый государь!

По препоручению Совета Императорского Московского университета имею честь известить вас, что он определением своим от 2-го сего мая положил предложить вам составить конспект преподавания истории славянского языка и литературы вообще и представить в Словесное отделение на рассмотрение, которое, получив, представит о нем Совету свое мнение; при сем возвращается к вам ваша Грамматика нынешнего болгарского наречия, с присовокуплением, что она найдена г. ор. профессором Давыдовым заслуживающею внимание.

При сем, милостивый государь, изъявив мое к вам искреннее уважение, честь имею пребыть вашим покорным слугою

Николай Надеждин».

С этого текста было списано — с незначительными редакционными изменениями стилистического характера и... опиской «Давыдом» вместо «Давыдовым» — беловое письмо, которое было направлено Венелину и которое в 1898 г. опубликовал (без последнего абзаца и указания на описку) П. А. Лавров [4, 121]. В том же (1898) году о нем писал И. Шишманов, изложивший его содержание и обративший, между прочим, внимание на описку в написании фамилии Давыдова [3, 44]. По публикации Лаврова текст письма Надеждина приводится в монографии Т. Байцуры [5, 212]. В настоящее время это письмо хранится вместе с авторским экземпляром «Конспекта», о котором гово-

рится ниже, в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина [8].

Таковы материалы дела «О препоручении преподавания славянского языка при Московском университете лекарю Юрию Венелину». Отсутствие в этом деле материалов после 21 мая 1834 г. объясняется тем, что, как будет показано ниже, Венелин, составив «Конспект», не представил его на рассмотрение в Словесное отделение, которое по этой причине не смогло выполнить предписания Совета. Совет же, по-видимому, к вопросу о поручении Венелину преподавания славянской филологии не возвращался, и начатое дело формально Советом не было закрыто.

Приведенные материалы позволяют полнее и точнее осветить вопрос о несостоявшемся назначении Венелина на славяноведческую кафедру Московского университета и отвергнуть ряд ошибочных и неверных утверждений в работах, касающихся этого момента из жизни Венелина. Что же это за утверждения?

Важнейшие среди существующих в историографии неточных утверждений касаются обстоятельств, связываемых с самим обращением Венелина в Московский университет с целью получить в нем славистическую кафедру и с написанием «Конспекта». Распространено мнение, что такое обращение и последовавшее за ним создание Венелиным «Конспекта» непосредственно связаны с введением нового университетского устава 1835 г. Так, С. Б. Бернштейн, указав на введение этого устава, пишет, что «по инициативе историка Погодина Московский университет пригласил Ю. И. Венелина» возглавить кафедру «истории и литературы славянских наречий», но поскольку Венелин к этому подготовлен не был, а составленный им «конспект преподавания истории славянского языка и литературы» оказался неудачным, попытка Венелина получить названную кафедру оказалась безуспешной, и кафедра досталась М. Т. Каченовскому [9, 384].

Действительно, инициатива в подаче приведенного прошения, по-видимому, целиком принадлежала Погодину, который, как писал А. А. Кочубинский, «упорно лелеял свою мечту — укрепить кандидатуру Венелина» и усиленно этого добивался [6, 175]. По всей вероятности, Погодин составил даже текст прошения, переписанный затем Венелиным. Об этом можно заключить из следующего фрагмента короткой записки Венелина, в которой он писал Погодину: «Прошение в Совет, коли хочешь, сочини, — подам, но с тем условием, чтобы мне скоро возвратили. Мне давно пора послать. Не знаю, что из этого будет» [10, л. 4]. Из приведенного фрагмента записки явствует также, что и идея представить в Совет «Граматику нынешнего болгарского наречия» в подтверждение научной квалификации Венелина тоже принадлежала Погодину. Судя по этой и другой записке к Погодину (ее текст см. ниже), Венелин согласился с предложением

Погодина не без колебаний и оправданных сомнений в успехе. Он понимал также, что представление «Грамматики» в Совет неизбежно приведет к отсрочке ее посылки в Российскую Академию, настоятельно требовавшую от него этого труда, и что эта отсрочка вызовет недовольство Академии. Вот почему он соглашался направить «Грамматику» в Совет при условии, что тот ее возвратит ему в ближайшее время. Обеспокоенный возможной длительной из-за Давыдова задержкой с представлением «Грамматики» в Российскую Академию, Венелин, как видно из публикуемой ниже записки к Погодину, в самом конце марта — начале апреля 1834 г. (во всяком случае не позднее чем за неделю-полторы до Пасхи, которая в том году приходилась на 22 апреля), посетил Давыдова и попросил его поскорее ознакомиться с «Грамматикой». Венелин писал: «Я был нынче у Давыдова; просил его поперелистать поскорее; оказалось, что в полтора [так!] недели он и не принимался еще. Обрадовал меня, что авось либо к Светлому Воскресению прочтет. Говорит, что такие сякие дела мешают, али мешали. Академия читала долго дожидаться. Если же он станет перечитывать от строки до строки, ей богу, терпения не станет. Мне много стоило решиться подать; а возиться — чорт побери! На просьбу мою отвечал что-то сухо. Когда я выходил, то раздался хохот. (У него кто-то был)» [10, л. 3].

Обращает на себя внимание тот факт, что прошение Венелина датировано тем же числом — 14 марта 1834 г., когда состоялось заседание Совета университета, на котором оно было рассмотрено. Факт этот может свидетельствовать о предварительной договоренности рассмотреть вопрос о Венелине на данном заседании. Вместе с тем указанная в прошении дата может говорить и о том, что Венелин до самого последнего дня, вероятно, сомневался и колебался, стоит ли ему вообще «предложить свои услуги» университету или нет. Об этом, кроме приведенного выше фрагмента записки, свидетельствуют и другие письма Венелина к Погодину, из которых можно заключить, в частности, что Погодин «убеждал [Венелина] в пользе адъюнктура серьезно» [10, л. 5], что Венелин «не хотел подавать просьбы», т. е. прошения в Совет университета, но «сделал... и в этом жертву» своей «доверенности и уважения» [10, л. 6], что об адъюнктуре Венелин Погодина «не просил» [10, л. 11]. Кроме неуверенности в благоприятном исходе дела, нерешительность Венелина, если почти не безразличие к настойчивому предложению Погодина, объяснилось, по-видимому, и тем, что адъюнктура, по мнению Венелина, не могло обеспечить ему необходимых средств существования [10, л. 5 об.].

Отметим попутно, что Погодин, в отличие от Венелина, не считал адъюнктура в университете невыгодным местом [11, л. 1] и что в Российскую Академию, по поручению которой Венелин

совершил путешествие в Болгарию и обрабатывал собранные материалы, с просьбой о вознаграждении его трудов он обратился также по настоянию Погодина. «Ты знаешь, — писал он Погодину, — что бесполезную переписку о жалованьи от Академии я начал только по твоему совету и в угодность тебе» [10, л. 10 об.]. Как известно, в этой просьбе Венелину было отказано.

Приведенные выше документы убедительно свидетельствуют, что Венелин предложил «свои услуги» Московскому университету более чем за год до принятия университетского устава 1835 г., когда вопрос об открытии кафедры «истории и литературы славянских наречий» в этом и других университетах России еще не только не был решен, но, по-видимому, даже и не обсуждался составителями проекта устава. Во всяком случае, проектом, который был подготовлен Министерством народного просвещения, первоначально такая кафедра не предусматривалась, а идея о ней вновь, после нескольких лет забытья, возникла после 10 мая 1835 г., когда М. М. Сперанский внес свои замечания на этот проект. А. А. Кочубинский считает, что воскрешение идеи о славянистической кафедре, обязанное, по-видимому, Сперанскому, «произошло в небольшой промежуток времени между 10-м мая и 26-м июля», т. е. фактически уже при самом представлении проекта университетского устава [12, 38, 42—43]. Поэтому связывать подачу прошения Венелина в Совет Московского университета с уставом 1835 г. нет никаких оснований. В марте 1834 г. вопрос о кафедре «истории и литературы славянских наречий» еще вообще не стоял, и Венелин, предлагая тогда университету «свои услуги», не мог, естественно, иметь в виду эту, еще не существовавшую даже в проекте, кафедру. В равной мере и Совет университета, рассматривавший прошение Венелина и поручивший ему составить программу лекций, имел в виду не кафедру «истории и литературы славянских наречий», а другую. Какую же?

Очевидно, имелась в виду та «катедра славянского языка» или «катедра славянской словесности», которая была учреждена в Московском университете в 1811 г. и которую до своей смерти в 1829 г. занимал М. Г. Гаврилов, после чего, как указывает С. К. Булич, эта кафедра была упразднена [13, 747; 14]. В марте — мае 1834 г. речь могла идти о возобновлении занятий по бывшей «катедра славянского языка». Что дело обстояло именно так, хорошо видно из прошения Венелина и особенно из решения, принятого Советом университета 14 мая 1834 г. То, что сам Венелин рассматривал свою возможную работу в университете как продолжение прерванного со смертью Гаврилова преподавания «славянского языка» (ср. и название кафедры Гаврилова — «катедра славянского языка»), следует из того, что в направленном в Совет прошении Венелин обращается с предложением поручить ему «преподавание славянского языка, доселе

бесперерывно продолжающегося (разряда наша. — Г. В.), а не преподавание «истории и литературы славянских наречий».

Естественно, что в связи с поступившим в Совет прошением Венелина в университете было заведено дело о поручении ему «преподавания славянского языка». В решении же Совета от 14 марта 1834 г. прямо говорится о желательности возобновления преподавания славянского языка: возможное поручение Венелину мотивируется тем, что «преподавание славянского языка, соществовавшее и прежде сего в университете, было бы весьма полезно возобновить для полноты филологического изучения и для отечественного». Лишь несколько позднее, в решении Совета от 2 мая 1834 г., речь идет уже о преподавании не только языка (его истории), но и литературы. В нем сказано, что Совет решил «поручить Венелину составить конспект преподавания истории славянского языка и литературы вообще». Давая Венелину такое поручение, Совет, вероятно, принял во внимание в особенности ту часть отзыва Давыдова о «Грамматике» Венелина, где сказано, что «вообще история славянских наречий и словесности действительно составила бы новый, весьма полезный предмет для учащихся словесным наукам». В соответствии с указанным решением Совета Венелин и составил известный конспект преподавания именно «истории славянского языка и литературы вообще», а не «истории и литературы славянских наречий».

Совершенно ясно, таким образом, что между университетским уставом 1835 г., с одной стороны, и прошением Венелина от 14 марта 1834 г. с предложением «своих услуг» Московскому университету, а также составлением «Конспекта», с другой, нет и не могло быть связи. С учреждением же, согласно уставу 1835 г., кафедры «истории и литературы славянских наречий», прошение Венелина, по которому еще не было принято решения, как бы все еще оставалось в силе, но теперь уже, естественно, Венелин стал рассчитывать на эту кафедру, а не прежнюю «катедру славянского языка».

Приведенные выше материалы и прежде всего прошение Венелина убедительно показывают, что Московский университет не приглашал Венелина преподавать не только новый предмет «историю и литературу славянских наречий», как полагает С. Б. Бернштейн [9, 384], но и возобновить «преподавание славянского языка». Венелин сам предложил университету свои услуги для «преподавания славянского языка», хотя, как уже давно известно и как это подтверждается приведенными выше материалами из переписки Венелина с Погодиным, инициатива этого исходила от Погодина. Погодин, однако, в данном случае выступал не от имени университета, а как частное лицо, принимавшее живое участие в судьбе Венелина. При этом следует особо подчеркнуть, что Венелин, предложивший свои услуги университету, и Погодин, настаивавший на этом, имели в виду не место

профессора, а, как свидетельствует их переписка (см. выше), место адъюнкта. Вопрос о профессорстве Венелина мог возникнуть позднее, с введением устава 1835 г.

Далее. Существует мнение, что Венелин «занимался подготовкой грамматики болгарского языка с надеждой получить кафедру славянских языков в Московском университете» [15, 57]. На самом деле составление Венелиным «Грамматики нынешнего болгарского наречия» никак не было связано с его намерением получить кафедру, поскольку этот труд, как хорошо известно, он составлял по поручению Российской академии. В начале 1834 г. «Грамматика» в основном была уже завершена и она, таким образом, оказалась для Венелина весьма кстати как одно из доказательств его научной квалификации, которое он, как это видно из его прошения, и решил представить Совету университета.

Отметим в этой связи и другое заблуждение, касающееся «Грамматики» Венелина. Существует мнение, что этот труд Венелина был рассмотрен и одобрен факультетом и что это послужило основанием поручить ему составление «Конспекта». Так, еще в 1882 г. Бессонов писал, что «факультет отозвался о ней («Грамматике». — Г. В.) с одобрением» [16, 187]. Об этом же писали Шишманов [3, 46] и Златарский [17, 112]. В действительности факультет «Грамматику» Венелина не рассматривал и потому не мог дать о ней положительного мнения. К сказанному нами в другой статье [7, 180—181] добавим, что и сам Венелин допускал эту же неточность, воспринимая личный отзыв Давыдова, написанный по поручению Совета университета, как отзыв факультета. В черновом письме к неуказанному лицу (вероятно, Д. И. Языкову, непременно секретарю Российской Академии) Венелин писал в конце 1837 г., что, предлагая «свои услуги университету по части славянских наречий», он представил «Грамматику» в доказательство своего трудолюбия и что факультет, которому было поручено рассмотреть «Грамматику», о ней «отозвался с полным одобрением, замечая, однако, что в некоторых местах нужно исправить русский слог» [18, л. 22 об.]. Венелин к концу 1837 г., вероятно, просто забыл некоторые подробности рассматриваемого здесь дела или, может быть, не придал им в письме значения.

Некоторые авторы указывают, что вместе с «Грамматикой» Венелин представил в Московский университет и список своих трудов. Так, Шишманов писал, что в качестве доказательства своей подготовленности к занятию кафедры Венелин «представил факультету... большую часть своей болгарской грамматики со списком своих трудов» [3, 45—46]. Несколькo позднее это же почти дословно повторил и Златарский [17, 112]. Приведенные выше документы дела «О препоручении преподавания славянского языка» Венелину показывают, что никакого списка своих

трудов Венелин вместе с прошением и «Грамматикой» в университет не представлял. В прошении он называет только два своих новых труда — «Болгарские грамоты» и «Грамматику нынешнего болгарского наречия», завершение работы над которыми позволило ему «предложить свои услуги» Московскому университету.

Источник указанной здесь ошибки лежит, видимо, в опубликованной в 1897 г. статье В. Н. Перетца о Венелине. В ней говорится, что Венелин «выставил свою кандидатуру на кафедру славянских наречий в Московском университете, исчислив свои ученые труды и представив значительную часть болгарской грамматики» [19, 237]. Неопределенное указание Перетца на какой-то перечень («исчисление») трудов Венелина Шишманов, а вслед за ним и Златарский поняли, видимо, так, что речь здесь идет о списке трудов, представленном Венелиным в университет вместе с «Грамматикой».

Из документов видно также, что Венелин рукописную «Грамматику нынешнего болгарского наречия» представил не на факультет, как писали Шишманов и Златарский, а в Совет университета.

В литературе накопилось также немало неверных утверждений, касающихся составленного Венелиным «Конспекта».

Прежде чем перейти к этим утверждениям, отметим, что в архиве Венелина, хранящемся ныне в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва), имеется два экземпляра этого труда Венелина. Один из них — автограф без подписи в конце текста [20]. Полное заглавие его выписано другой рукой на обороте л. 1. «Конспект преподавания истории славянского языка и литературы, вообще, составленный по определению Совета Императорского Московского университета, от 2-го Мая 1834 года, Юрием Венелиным». К последнему слову под звездочкой дана отсылка к следующей записи И. Молнара, помещенной внизу той же страницы под чертой: «Этот автографный Конспект Венелина представляет в дар в Библиотеку Московского Публичного и Румянцевского Музеев Иван Молнар де Имшад. Июля 15 дня 1869 года». На обороте л. 16 имеется следующая приписка И. Молнара: «Москва, 1834 года. И. М.» Этот автографный экземпляр «Конспекта» написан на грубой сероватой бумаге. С него другим лицом была снята беловая копия на бумаге лучшего качества — плотной, гладкой, желтоватого цвета [21]. На л. 1 этого экземпляра выписано следующее заглавие: «Конспект преподавания истории славянского языка и литературы», а в конце текста на обороте л. 9 есть собственноручная подпись Венелина: Юрий Венелин. Наличие подписи свидетельствует о том, что, вероятно, именно этот экземпляр был подготовлен Венелиным для представления в университет. Между обоими экземплярами имеются незначительные

разночтения: в текст копии внесены некоторые стилистические изменения. Лавров издал «Конспект» по автографному экземпляру [4, 110—121]. Второй экземпляр (беловая копия) в составе основной части архива Венелина был передан Обществу истории и древностей российских, влившейся в конце прошлого века в фонды Московского Публичного и Румянцевского музеев.

Недавно Л. Минкова указала, что «Конспект» Венелина «находится среди бумаг Бодянского» [22, 30]. Какую часть архива О. М. Бодянского имеет здесь в виду Минкова, она не уточняет. Отметим в этой связи, что «среди бумаг Бодянского», хранящихся ныне в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина [ф. 36] и в Отделе рукописей Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР [ф. 99] «Конспекта» Венелина нет (письмо зав. отделом А. М. Полотаи от 23. IV 1982 г.).

Относительно «Конспекта» существует мнение, что составить его Венелину поручил факультет, точнее — словесное отделение философского факультета. Бессонов в 1882 г. писал, что факультет, отозвавшись о «Грамматике» с одобрением, «поручил сочинителю составить программу чтений» [16, 187]. Такого же мнения были Шишманов [3, 187] и Златарский [17, 46], а в наше время его разделяет Бернштейн [9, 384]. Бессонову, использовавшему материалы из архива Венелина, вероятно, осталось неизвестным приведенное выше письмо Надеждина к Венелину, где ясно сказано, что составление «Конспекта» поручает Венелину Совет университета, а не факультет. Другие же исследователи, вероятно, просто упустили из виду письмо Надеждина, которое им было известно. Шишманов, например, характеризовал его как «интересное официальное письмо секретаря совета Московского университета», которым Надеждин сообщал Венелину, что «по решению совета ему поручается («той се натоварва») составить «Конспект...» [3, 44]. Возможно, ученых ввели в заблуждение слова самого Венелина в опубликованном в конце XIX в. письме к Краевскому от 3 января 1836 г., в котором он писал, что «конспект курсам о славянских наречиях и их литературах» был им составлен «по предписанию факультета» [23, 40]. Венелин здесь, конечно, допустил ошибку, объяснимую тем, что для него, потерявшего надежду получить место преподавателя в университете, в общем, когда он писал это письмо, наверное, было уже не столь существенно, кто именно — факультет или Совет университета — поручал составить «Конспект». В написанном позднее (в конце 1837 г.) письме к Языкову (?) Венелин этот момент освещал точнее: «Вследствие отзыва факультета совет предписал мне составить программу, по которой я намерен читать лекции» [18, л. 23]. Этот фрагмент письма приводит и Т. Байцура [5, 211].

Приведенные выше документы совершенно недвусмысленно

говорят о том, что поручение Венелину составить «Конспект» исходило от Совета университета, а не от факультета. Это ясно было уже в 1898 г. из самого заглавия опубликованного Лавровым «Конспекта» и письма Надеждина к Венелину, а также из изложения содержания этого письма Шишмановым. Лавров тогда же совершенно определенно писал, что «Конспект» был составлен Венелиным «по поручению Совета Московского университета, как видно из сохранившейся при нем официальной бумаги за № 441 (имеется в виду письмо Надеждина к Венелину. — Г. В.)» [4, 121].

В историографии нет ясности и в вопросе о том, когда именно «Конспект» был составлен. Очевидно, что временем завершения работы над ним можно было бы условно считать дату представления его факультету, куда Венелин, согласно решению Совета университета, должен был направить этот свой труд. Такая дата не известна и ее быть не может, поскольку, как будет показано ниже, Венелин «Конспект» в университет не представлял. В существующей же литературе относительно времени работы Венелина над «Конспектом» имеются явно неверные суждения. Так, И. С. Свенцицкий [24, 105] и Л. Минкова [22, 30] указывают, что Венелин представил «Конспект» в Совет университета в мае 1834 г. Из этого следовало бы заключить, что «Конспект» был составлен Венелиным до мая или не позднее мая 1834 г. С этим нельзя было бы согласиться, ибо Совет университета только 2 мая принял решение о поручении Венелину составить конспект и лишь 21 мая Надеждин направил ему официальное письмо с извещением решения совета. (Отметим попутно и следующее: Байцура пишет, что Надеждин от имени Совета университета обратился к Венелину 2 мая 1834 г. [5, 211]. Это, надо полагать, случайная описка). Данных о том, что Венелин составил «Конспект» еще до соответствующего решения Совета университета, нет, и крайне маловероятно, чтобы он, не зная решения Совета, уже заблаговременно и очень быстро (с 14 марта, когда подал прошение в Совет и до мая) его составил. Т. Байцура считает, что «Конспект» был написан в 1834 г. [5, 221]. Это более вероятно, так как с конца мая и до конца 1834 г. у Венелина в принципе было достаточно времени, чтобы его составить.

Надо полагать, что Венелин, заинтересованный в преподавательской работе в университете, получив предложение Совета, не стал медлить и сразу же принял за составление «Конспекта». Но закончил ли он его в 1834 г., трудно сказать. Бесспорно лишь то, что не позднее конца 1835 г. «Конспект» был уже совершенно готов, поскольку попечитель Московского учебного округа С. Г. Строганов к тому времени с ним уже успел ознакомиться и вернуть его Венелину [23, с. 40]. Из одного письма Венелина к Погодину видно, что «Конспект», как и т. II «Древних и нынешних болгар», не были завершены Венелиным к какому-то наме-

ченному им сроку из-за увлечения Елизаветой Васильевной Сухово-Кобылиной, будущей писательницей, известной под псевдонимом Евгении Тур. «Бог с нию, — писал Венелин, — она у меня убила множество времени полезного, ни II тома, ни конспекта не мог я кончить посреди огорчений» [10, л. 16 об.]. Венелин познакомился с нею в доме Сухово-Кобылиных, где давал уроки ее брату Александру — будущему знаменитому драматургу А. В. Сухово-Кобылину.

Составленный «Конспект» Венелин, в соответствии с решением Совета университета, должен был представить на рассмотрение словесного отделения философского факультета. В существующей литературе как бы априори признается, что Венелин «Конспект» в университет представил. Исследователи, однако, расходятся в том, кому именно Венелин направил свой «Конспект» и кто в университете этот его труд отверг и отверг ли его вообще.

Одни исследователи (например, В. П. Чорний [25, 98] и Л. П. Лаптева [26, 38]), утверждая, что Венелин «Конспект» в университет представил, не уточняют, кому именно он его адресовал — факультету (словесному отделению) или Совету. Другие прямо говорят, что «Конспект» был направлен в Совет университета. Так, еще в опубликованном в 1871 г. кратком описании материалов из архива Венелина, переданных И. Молнаром в 1869 г. в Московский Публичный и Румянцевский музеи, в числе других материалов называется и «составленный Венелиным конспект преподавания истории славянского языка и литературы, представленный им в совет Московского университета» [27, 50]. В наше время такой точки зрения придерживается Байцура [5, 211]. Иногда указывается и время представления «Конспекта» в Совет университета. Свенцицкий и Минкова, например, считают, что «Конспект» был туда представлен уже в мае 1834 г. (см. выше). Минкова при этом допускает, что уже тогда, т. е. в 1834 г., с «Конспектом» Венелина мог ознакомиться и окончивший в том же году университет Бодянский, который, как известно, занял кафедру осенью 1842 г. Вместе с тем более вероятным ей представляется то, что Бодянский ознакомился с «Конспектом» по возвращении в Москву из командировки по славянским странам [22, 30]. Некоторые исследователи (Шишманов, Ягич), очевидно, полагают, что «Конспект» был представлен факультету, поскольку именно факультет, по их мнению, дал о нем свое заключение (см. об этом несколько ниже).

По-разному освещаются в литературе и вопросы о том, кто рассматривал «Конспект» Венелина и каким было отношение к этому труду в университете.

Некоторые исследователи просто констатируют, что «Конспект» в университете был отвергнут, не конкретизируя того, кто именно его отверг — факультет или Совет университета. Так,

Чорний пише, що «представлена йому (Венеліном. — Г. В.) програма була отвергнута» [25, 98], а Лаптева вказує, що програма Венеліна «не була утверджена» [26, 39]. Ще в кінці минулого століття Кочубинський висказував думку, що «Конспект» обговорювався в Раді університету, який і отверг його за рекомендації Каченовського [6, 178]. Кочубинський, правда, не говорив прямо, що «Конспект» Венеліна був отвергнут саме Раді університету, однак з його роботи несомненно випливає, що свій труд Венелін представив Раді, що декан словесного відділення Каченовський його читав і що Рада, прийнявши уважливу думку Каченовського, отверг «Конспект», а разом з цим і кандидатуру Венеліна на посаду кафедри. Думка про те, що саме Рада університету розглядала «Конспект», висказується і в теперішній час, але з іншою, ніж у Кочубинського, оцінкою рішення Ради. Байцур, наприклад, вважає, що «Конспект» був направлений «Раді університету, який, схваливши його формально, все ж кандидатуру Венеліна не утвердив» [5, 212].

Інші вчені вважають, що «Конспект» був розглянутий філософським факультетом (його словесним відділенням). Такого погляду дотримувалися, наприклад, Ягич, який писав, що представлений Венеліном «програма вийшла настільки невдачною, конфузною, що факультет не прийняв її» [28, 453], що «програма його не була прийнята факультетом» [28, 311]. В ці дні цю точку зору розділяв Бернштейн, який, слідом за Ягичем, пише, що складену програму «факультет не прийняв» [9, 384; див. також: 29, 125]. В 30-і роки Б. Пенев навіть вважав, що відричальне рішення факультету про «Конспект» — «це єдиний мотив відмови Венеліну» в кафедрі, хоча, втім, він тут же ставив питання про те, а «не було ли інших, чисто формальних мотивів, наприклад, те, що Венелін не закінчив історико-філологічного факультету» і не мав докторського ступеня [30, 60, 607]. Про те, що «Конспект» розглядався факультетом, ще до Ягича писав Шишманов. В відміння від Ягича, він, однак, вважав, що «Конспект» факультетом був схвалений, але це не допомогло Венеліну зайняти кафедру [3, 46]. Відзначимо в цій зв'язі і думку Златарського, який писав, що «хоча конспект його (Венеліна. — Г. В.) і був схвалений, він був повернутий назад» [17, 113]. Златарський, по-видимому, також вважав, що «Конспект» отримав схвалення не Ради університету, а факультету, за дорученням якого, як думав болгарський вчений, він був складений.

Ітак, по одному з найбільш важливих питань наукової біографії Венеліна, яким являється питання про долю складеного ним «Конспекта», висказані протирічливі судження, не піддавані до цих пір «взаємному зіткненню» і критичній оцінці.

Как же обстояло дело в действительности?

Среди материалов названного выше архивного дела нет никаких документов, свидетельствующих прямо или косвенно о том, что, во-первых, составленный «Конспект» Венелин в университет действительно представил и что, во-вторых, этот труд его был в университете рассмотрен. Уже само отсутствие таких документов наводит на мысль о том, что Венелин «Конспект» в университет не представлял и в университете — на факультете или в Совете — его не рассматривали. Из этого как бы автоматически следует важное заключение о том, что нет никаких оснований связывать отказ Венелину в преподавании в университете с отрицательным (а тем более — с положительным) отзывом, якобы данным в университете его «Конспекту».

Прежде чем перейти к обоснованию выказанного положения, заметим, что в принципе, конечно, нельзя полностью исключать и случайного отсутствия только что названных документов: такие документы могли быть, но по каким-то причинам не сохранились или в названное архивное дело не попали. Думается, однако, что такое предположение все же маловероятно, ибо трудно допустить, чтобы в специально заведенном в университете деле не осталось никаких следов, свидетельствующих о заключительном решении, которое должен был бы принять Совет университета по рассмотрении «Конспекта» Венелина, если бы такое рассмотрение действительно имело место.

Кроме этого косвенного соображения есть, однако, и прямое свидетельство того, что «Конспект» свой Венелин в университет не представлял. Это свидетельство исходит от самого Венелина и до сих пор не привлекало внимания исследователей. Отметим, что факультет «с полным одобрением» отозвался о представленной им «Грамматике» в качестве «доказательства его трудолюбия», Венелин в письме Языкову (?) в конце 1837 г. писал: «Вследствие отзыва факультета (в действительности, как уже указывалось выше, — отзыва И. И. Давыдова. — Г. В.) совет предписал мне составить программу, по которой я намерен читать лекции. Программу я написал для кафедры, для которой я готовился, но не представлял ее потому, что профессор и ректор М. Т. Каченовский на место своей кафедры российской истории принял кафедру славянских наречий (разрядка наша. — Г. В.)» [18, л. 23].

Здесь важно обратить внимание на то, как объясняет сам Венелин свой отказ представить «Конспект» в университет: кафедра, на которую он претендовал и для которой он составил «Конспект», была уже отдана Каченовскому. Представление «Конспекта» в такой ситуации, естественно, уже было лишено какого-либо смысла. Венелин, правда, допускает в цитируемом выше письме неточность, утверждая, будто эта кафедра досталась ректору Каченовскому. В действительности Каченовский

стал ректором Московского университета после назначения на эту кафедру (подробнее об этом см. ниже). Неточность эта легко объяснима: в конце 1837 г., когда Венелин писал данное письмо, Каченовский действительно уже был ректором университета, и для Венелина, надо думать, в это время едва ли имело какое-либо значение то, принял кафедру профессор и декан словесного отделения Каченовский или же профессор и ректор Каченовский. Такой детали Венелин, когда писал письмо, мог просто не придать значения и пренебречь ею. Другое дело — «Конспект». С ним временных «накладок» у Венелина не могло произойти. Как обстояло дело с «Конспектом», он, конечно, забыть не мог.

Приведенный отрывок из письма Венелина позволяет высказать некоторые косвенные соображения и относительно того, когда был составлен «Конспект». Поскольку свой отказ от представления «Конспекта» Венелин прямо связывает с занятием кафедры Каченовским, то можно думать, что работу над ним Венелин завершил незадолго до того, как он узнал о решении властей поручить кафедру Каченовскому. Если бы «Конспект» был готов гораздо раньше, то Венелин, надо думать, не стал бы откладывать его представление словесному отделению, которое должно было его рассмотреть. Правда, зная о возможном противодействии влиятельных сил в университете и вне его стен, Венелин мог, конечно, и задержать представление готового «Конспекта» словесному отделению, тем более, что в университете не нашлось никого, кто бы активно поддержал Венелина уже после подачи им прошения в Совет университета. Он был обескуражен таким к нему отношением и временами находился, видимо, в немалой растерянности, как это видно из его письма к Краевскому (1835 г.; точная дата не указана). «Говорено было, — писал Венелин, — об учреждении кафедры, при Московском университете, славянских наречий и их литературы. Многие говорили, советовали мне занять ее, советовали, и все молчат. Что же прикажете самому делать? И станет ли охоты после таких лестных вознаграждений?» [23, 39]. Среди тех, кто не поддержал Венелина в нужный момент, был и Погодин. В одном из писем Венелин писал ему с обидой: «Убеждал меня в пользе адъюнктура серьезно, а после оборотясь спиною ко мне сделал обо мне же гримасу» [10, л. 5]. Едва ли можно сомневаться в том, что назначению Венелина особенно противился декан словесного отделения Каченовский, который, как известно, весьма критически оценивал опубликованные труды Венелина. О том, что кафедру займет Каченовский и потому с надеждой на ее получение ему самому придется расстаться, Венелин совершенно определенно узнал, вероятно, в конце 1835 г. от попечителя Московского учебного округа Строганова. Это видно из письма Венелина к Краевскому от 3 января 1836 г., где сказано: «Я был у графа раза два-три; он принял меня довольно ласково, но конспект курсам

о славянских наречиях и их литературах, составленный мною по предписанию факультета, возвратил мне обратно, утверждая, что он эту кафедру назначает Каченовскому» [23, 40]. Строганов, назначенный попечителем Московского учебного округа 1 июня 1835 г., приступил к исполнению этих своих обязанностей 25 августа того же года [31, 51]. Следовательно, Венелин мог «два-три раза» посетить Строганова после 25 августа 1835 г. и до 3 января 1836 г.

Возникает вопрос: каким образом и почему «Конспект», который Венелин должен был представить словесному отделению и который туда не был представлен, оказался у Строганова? Поскольку в университет «Конспект» не поступал, то, очевидно, университет и не мог его направить попечителю учебного округа. Есть основания поэтому утверждать, что «Конспект» Строганову передал сам Венелин или кто-то другой по его просьбе, минуя университетские инстанции. Объяснение этому следует искать, как нам кажется, в неблагоприятном для Венелина отношении к его кандидатуре как в университете среди части профессуры, так и в Министерстве народного просвещения. Помимо весьма критической оценки трудов Венелина, появившейся в печати, занятию Венелиным кафедр мешало несомненно и то обстоятельство, что у него не было ученой степени доктора наук, которая требовалась для претендентов на занятие кафедр согласно университетскому уставу. Кандидатура Венелина предварительно обсуждалась, конечно, не только в Московском университете, но и в Министерстве народного просвещения. Еще до утверждения нового устава и до вступления его в силу министр С. С. Уваров, надо полагать, мог рассматривать Венелина как возможного претендента на занятие кафедры при условии защиты им докторской диссертации и получения степени доктора, требуемой согласно уставу для занятия кафедры [1, стлб. 980], но так как Венелин диссертации не защитил, то, в ожидании устава, Уваров мог посоветовать Московскому университету просто повременить с решением вопроса о Венелине. С утверждением же устава вопрос этот решался по существу сам собой не в пользу Венелина. Венелин, как можно судить по цитируемому выше письму его к Краевскому, знал об этом требовании устава еще до вступления его в силу. Он писал: «Говорят, что министр настаивает на докторство (так! — Г. В.). Конечно, это хорошая мера повысить ученость в народе, но подобная мера назначена для предбудущих времен. Но теперь, до введения еще устава, ужели эта мера послужит к тому только, чтобы задавить меня после пятилетия трудов для Министерства же? Впрочем, этот вопрос меня не очень беспокоил, потому что я совершенно убежден, что министр слишком просвещен для того, чтобы отличить разницу между пергамином с печатью (имеется в виду докторский диплом. — Г. В.) и человеческими способностями. Я уверен и в его добром

сердце» [23, 40]. По-видимому, 3 января 1836 г., когда Венелин писал это письмо Краевскому и когда устав уже вступил в силу, он все еще надеялся, что ему пойдут навстречу и, учтя его труды и «человеческие способности», дадут кафедру и без ученой степени. Вместе с тем известно, что Венелин готов был и защищать в качестве диссертации свой труд «Скандинавомания и ее поклонники или столетние изыскания о варягах», но просил освободить его от сдачи экзаменов [5, 212—214]. Однако и это намерение Венелина не осуществилось.

Учитывая сказанное, мы можем с достаточной уверенностью утверждать, что еще до назначения Каченовского на новую кафедру Венелин передал свой «Конспект» Строганову в надежде на то, что тот, ознакомившись с ним лично, убедится в целесообразности поручения именно ему преподавания «славянских наречий и литературы» и, возможно, со своей стороны, обратится к министру народного просвещения с ходатайством если не о назначении Венелина на кафедру без ученой степени, то, по крайней мере, об освобождении его от экзаменов. Иначе передача «Конспекта» Строганову вряд ли бы имела какой-либо смысл. Но, как пишет и сам Венелин, Строганов предпочел Каченовского. Чем руководствовался он при этом, что сыграло в таком его решении главную роль, мы не знаем и можем только догадываться и строить разные предположения. Неизвестно, в частности, какое впечатление произвел на Строганова «Конспект» Венелина.

Решение Строганова Венелин воспринял как несправедливый акт и тяжело его переживал. Получив от Строганова обратно свой «Конспект» и узнав, что тот поручает кафедру Каченовскому, Венелин писал в цитируемом письме Краевскому: «Вы видите из этого, что я человек ни к чему неспособный. Горько принимать подобные доказательства после пять (так! — Г. В.) лет трудов... Все-таки не понимаю, с какой стати я должен страдать от того только, что других хотят приглубить?!» [23, 40]. Краевский, как видно из этого же письма, еще раньше советовал Венелину обратиться с какой-то просьбой к министру Уварову (возможно, разрешить защиту диссертации без предварительной сдачи экзаменов). Венелин, по-видимому, и собирался это сделать, но по прибытии в Москву нового попечителя — графа Строганова он «не осмелился утруждать министра мимо нового непосредственного начальника (т. е. Строганова. — Г. В.)» [23, 41]. В самом начале 1836 г., когда Венелин писал это письмо, Строганов был в Петербурге, и Венелин был в растерянности, не зная, что следует еще предпринять. «Что же мне делать?» — писал он Краевскому [23, 41].

Таков финал попытки Венелина стать сначала преподавателем (адъюнктом) «славянского языка», а затем, после введения университетского устава 1835 г., — «кафедры истории и литера-

туры славянских наречий» (возможно, даже профессором этой кафедры).

В свете всего сказанного очевидно, что утверждение, будто Венелин был «первым болгароведом, работавшим в Московском университете» [32, 436], лишено каких-либо оснований. Венелин никогда в Московском университете не работал.

Остается рассмотреть еще одну распространенную ошибку, которая выше уже упоминалась, а именно, будто кафедра «истории и литературы славянских наречий» была поручена ректору Каченовского университета Каченовскому. Именно с ректорством Каченовского некоторые исследователи так или иначе связывают неудачную попытку Венелина получить эту кафедру. Так, Кочубинский указывал, что в то время, когда решался вопрос о Венелине, «во главе университета стоял... испытанный критический ум — Каченовский» [6, 178]. Другие ученые прямо отмечают, что новая славистическая кафедра досталась не Венелину, а ректору Каченовскому. Например, Бессонов еще в начале 80-х годов писал, что составленная Венелиным программа курса по славяноведению осталась в его бумагах, «ибо профессор и ректор М. Т. Каченовский, на место кафедры русской истории, принял тогда кафедру славянских наречий» [16, 187]. Позднее Перетц также указывал, что, хотя Венелин и составил «план лекций», но «кафедру славянских наречий» в университете он не получил, а ее «заял «сильный человек», хотя и не специалист по славяноведению — профессор русской истории и ректор М. Т. Каченовский» [19, 237]. О том, что кафедра досталась ректору Каченовскому, писали и болгарские ученые Шишманов [3, 46] и Златарский [17, 113]. В наше время такой точки зрения придерживается Байцура. «Стремление Венелина получить докторат, — пишет она, — не увенчалось успехом. С. Г. Строганов все больше склонялся к мысли в пользу кандидатуры профессора российской истории и ректора университета М. Т. Каченовского, который получил назначение на кафедру истории и литературы славянских наречий в 1836 г.» [5, 214]. О том, что кафедра досталась не Венелину, а ректору Каченовскому, сказано и в нашей статье [7, 182].

Высказывая приведенное здесь мнение, исследователи, видимо, допускают, что Каченовский как ректор повлиял или, по крайней мере, мог повлиять на то, чтобы кандидатура Венелина в университете была отвергнута. В действительности же между Каченовским-ректором и неудачей Венелина никакой связи не было и не могло быть по той причине, что Каченовский получил кафедру еще до того, как стал ректором. По данным С. М. Соловьева, составившего на основе документов краткий очерк жизни и научной деятельности Каченовского, тот был назначен на эту кафедру в последний день (31 декабря) 1835 г. [33, 384]. Эту же дату называет и Булахов [15, 116]. Указывается и просто

1835 г. (без дня и месяца) как год, когда Каченовский «перешел на кафедру истории и литературы славянских наречий» [34, 579; 35, 135]. По мнению Кочубинского, Каченовский занял эту кафедру еще до начала 1835—1836 академического года [6, 180], т. е. до 17 августа 1835 г., когда начался этот академический год [36, 7]. Златарский писал, что Каченовский «кафедру славянской филологии занял» в 1836 г. [17, 113]. Байцура также полагает, что Каченовский «получил назначение на кафедру истории и литературы славянских наречий в 1836 г.» [5, 214], а по мнению Бернштейна, Каченовский «возглавил новую кафедру» после 1835 г. [29, 126, сноски 1].

Из официального отчета о деятельности Московского университета в 1835—1836 академическом году видно, что ко времени введения в действие нового университетского устава, т. е. к 1 января 1836 г., Каченовский уже был назначен на кафедру «истории и литературы славянских наречий» и что ему поручалось чтение лекций по этому предмету [37, 92]. Но Каченовский в этом академическом году на всем его протяжении был деканом I (словесного) отделения философского факультета, а не ректором университета [38, 2]. Ректором же в то время (с 1832 и до начала 1837 г.) был профессор восточной словесности А. В. Болдырев [38, 2; 39, 94]. Каченовский же, как это уже давно указывалось (см., например, [40, 566]), стал ректором в 1837 г. (по-видимому, в начале этого года). В отчете о деятельности университета в 1836—1837 академическом и 1837 календарном году в числе произошедших за это время «перемен в чиновниках и преподавателях университета» сказано: «Ректор статский советник Болдырев по высочайшему повелению отставлен от службы; а на место его избран и высочайше утвержден ректором заслуженный профессор статский советник Каченовский, на недослуженное предместником его время, т. е. по 11 февраля 1840» [41, 4]. К исполнению обязанностей ректора Каченовский приступил, вероятно, в середине марта 1837 г. Это видно из «Части учебной» того же отчета, где сказано, что «российскую статистику с начала академического года до половины марта месяца 1837 г. преподавал заслуженный профессор Каченовский, а с сего времени по вступлении его в должность ректора, продолжал науку ординарный профессор Васильев» [41, 9]. В другом месте этого отчета, впрочем, сказано, что Васильеву поручалось «преподавание российской статистики, по утверждению в звании ректора заслуженного профессора Каченовского, с половины марта месяца 1837 года» [41, 15; разрядка наша. — Г. В.].

Как видим, связывать как-то неудачную попытку Венелина «предложить свои услуги» Московскому университету с ректорством Каченовского нет никаких оснований. Из этого, однако, не следует, что и, будучи ректором, Каченовский не имел возмож-

ности помешать намерению Венелина. Но использовал ли он при этом и «Конспект» Венелина, чтобы доказать или, показать непригодность его для университета, как это утверждал Кочубинский, сказать трудно. Тот факт, что «Конспект» в университет не был представлен, еще не исключает возможности ознакомления Каченовского с ним другим путем. В частности, новый попечитель Строганов, решая вопрос о Венелине, мог сам предложить декану Каченовскому ознакомиться с «Конспектом» и высказать о нем свое мнение. Но и в этом случае, если таковой действительно имел место, нет оснований связывать как-то отказ Венелину и назначение на кафедру Каченовского с ректорством последнего.

Источник рассмотренного только что заблуждения лежит, по-видимому, в цитированном выше (с. 45) отрывке из письма Венелина, где сказано, что составленную программу лекций он «не представлял... потому, что профессор и ректор М. Т. Каченовский на место своей кафедры российской истории принял кафедру славянских наречий». В 1835 г., когда решался вопрос о кафедре, Венелин, конечно, не мог не знать, что Каченовский тогда еще не был ректором университета. И едва ли случайно, что, сообщая в письме от 3 января 1836 г. Краевскому решение Строганова, Венелин писал: Строганов «эту кафедру назначает Каченовскому», а не «... ректору Каченовскому». В таком решении Строганова Венелин тогда мог видеть и результат каких-то шагов, предпринятых Каченовским, но Каченовским профессором и деканом, а не ректором. В конце 1837 г., когда Венелин писал цитированное письмо к Языкову (?), Каченовский уже был ректором, о чем Венелин, конечно же, знал. И сообщая в этом письме о своей попытке получить кафедру в университете, Венелин, так сказать, задним числом отнес ректорство Каченовского и к тому времени, когда тот встал на его пути к кафедре.

В литературу это неточное утверждение Венелина попало, по-видимому, через Бессонова, не указавшего его источник. В опубликованной в 1882 г. статье о жизни и деятельности Венелина Бессонов писал, что кафедра досталась «профессору и ректору Каченовскому». То, что Бессонов опирался здесь на письмо Венелина 1837 г., несомненно. Это подтверждается почти полным текстуральным совпадением приведенного выше отрывка из письма Венелина и следующего отрывка из статьи Бессонова: составленная «программа чтений... осталась в бумагах Венелина, ибо профессор и ректор М. Т. Каченовский, на место кафедры русской истории, принял тогда кафедру славянских наречий» [16, 187]. Добавив от себя слово «тогда», Бессонов тем самым совершенно определенно, но вместе с тем и неверно, указал, что Каченовский принял кафедру, будучи ректором университета.

Впоследствии Перетц и другие исследователи восприняли точку зрения Бессонова, которая и дожила до наших дней.

Отметим, наконец, еще одну неточность, касающуюся рассматриваемого здесь вопроса. В одной из статей о Венелине, опубликованных в последние годы, говорится, что Венелин принял участие «в конкурсе на заведующего кафедрой славяноведения в Московском университете» [42, 105]. Это утверждение не верно, потому что штатная университетская должность «заведующий кафедрой» наших дней произвольно переносится в университетскую жизнь 30-х годов прошлого века, когда заведующих кафедрами в нашем понимании не было.

Таковы новые факты и некоторые соображения, касающиеся неудачной попытки Венелина занять славистическую кафедру в Московском университете и начальной истории этой кафедры.

В заключение следует заметить, что в историографии встречается и немало других неточных и неверных утверждений, относящихся к жизни и ученой деятельности Венелина. Укажем здесь некоторые из них. Утверждается, например, что Венелин вернулся в Москву из поездки в Болгарию, Валахию и Молдавию «в середине 1831 г.» [43, 108], или 12 ноября 1831 г. [5, 112], между тем как по словам самого Венелина он возвратился в Москву «в октябре 1831 г.» [44, 23], а 12 ноября того же года, как писал еще Бессонов, он «окончательно устроился» в Москве [16, 183]. Утверждается также, что Венелин был похоронен в Москве на Даниловском кладбище [43, 119], в то время как в действительности его похоронили в Даниловом монастыре. Указывается даже, что известная брошюра Венелина «О зародыше новой болгарской литературы» вышла в свет в двух частях в 1838 и 1841 гг. [45, 382 — примечания П. Тотева], хотя на самом деле эта брошюра второй части не имеет и в 1841 г. не издавалась. Распространено мнение о том, что первым рецензентом рукописной «Грамматики нынешнего болгарского наречия» Венелина был акад. А. Х. Востоков (см. об этом в [7, 178—179]). В действительности же первым, кто официально рецензировал этот труд Венелина, был профессор Московского университета И. И. Давыдов (его отзыв см. в начале настоящей статьи). Существует также мнение, что «Грамматика» Венелина «получила отрицательный отзыв А. Х. Востокова» [29, 125]. Между тем Востоков, хотя и не согласился с рядом положений «Грамматики», в целом отозвался о ней положительно, отметив, что «издание ее в свет принесет большую пользу языкознанию славянскому» [44, 25]. Отрицательный же отзыв о «Грамматике», закрывший ей путь к публикации, был дан так называемым Рассмотрительным комитетом Российской Академии, о чем писал еще в 1882 г. Бессонов [16, 185]. Полный текст этого отзыва был опубликован в 1887 г. М. И. Сухомлиновым в качестве «образца академической критики» [46, 293—307].

Литература

1. Общий устав императорских российских университетов. — В кн.: Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 2. Царствование императора Николая I. 1825—1855. Отд-ние 1. 1825—1839. СПб., 1875.
2. Государственный архив г. Москвы, ф. 418, оп. 3, ед. хр. 84.
3. Шишманов И. Венелиновите книжа в Москва. II. — Български преглед, 1898, год. IV, кн. 10.
4. Лавров П. А. Конспект преподавания истории славянского языка и литературы, составленный по определению Совета Императорского Московского университета от 2 мая 1834 г. Ю. И. Венелиным. — В кн.: Древности. Труды Славянской комиссии Императорского Московского археологического общества. Т. 2. М., 1898.
5. Байцура Т. Ю. И. Венелин. Братіслава, 1968.
6. Кочубинский А. Граф С. Г. Строгонов. Из истории наших университетов 30-х годов. — Вестник Европы, 1897, кн. 7.
7. Венедиктов Г. К. Первые отзывы о «Грамматике нынешнего болгарского наречия» Ю. И. Венелина. — В кн.: Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М. 1981.
8. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Отдел рукописей, ф. 49, папка VII, ед. хр. 1.
9. Бернштейн С. Б. Вклад ученых Московского университета в изучение болгарского языка. — Известия на Института за български език (София), 1957, кн. V.
10. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, ф. Пог./II, папка 51, ед. хр. 15.
11. Там же, ед. хр. 15-а.
12. Кочубинский А. Граф Сперанский и университетский устав 1835 года. — Вестник Европы, 1894, № 5.
13. Булич С. Очерк истории языкознания в России. Спб., 1904.
14. М. Г. Гаврилов, «профессор изящных наук и эстетики», был, как указывает С. К. Булич, «совершенно чуждым научному языкознанию» человеком. Его преподавание по «кафедре славянского языка» сводилось к чтению и комментированию славянской псалтыри, так что «первый опыт учреждения кафедры славянской филологии вышел вполне неудачным и не имел никакого научного значения» [13, 747].
15. Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды. Т. I. Минск, 1976.
16. Бессонов П. Ю. Венелин. — ЖМНП, 1882, ч. 222, кн. 6.
17. Златарский В. Юри Иванович Венелин и значение его для болгарите. — Летопис на Българското книжно дружество в София, III. 1901—1902. София, 1903.
18. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, ф. 49, папка V, ед. хр. 148.
19. Перетц В. Венелин Ю. И. — В кн.: Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. V. Спб., 1897.
20. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, ф. 49, папка VII, ед. хр. 1.
21. Там же, папка III, ед. хр. 103.
22. Минкова Л. О. М. Бодяски и Българското Възраждане. София, 1978.
23. Письма Ю. И. Венелина к А. А. Краевскому. — В кн.: Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1891. Спб., 1894, раздел «Приложение».
24. Свенцицкий И. С. Нариси за историі болгарської літератури. Львів, 1957.
25. Чорний В. П. Венелин (Гуца) Ю. И. — В кн.: Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1979.
26. Лаптева Л. П. Славяноведение в Московском университете с 1835 по 1917 г. (К постановке вопроса). — Вестник Московского университета, серия 8. История, 1979, № 2.

27. Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1867—1869 г. Представленный директором музеев министру народного просвещения. М., 1871.
28. Ягич И. В. История славянской филологии. Спб., 1910.
29. Бернштейн С. Б. Из истории изучения южных славянских языков в России и в СССР. — Вопросы славянского языкознания (М.), 1957, № 2.
30. Пенев Б. История на новата българска литература. Т. III. София, 1933.
31. Отчет Императорского Московского университета с 1-го января 1835-го года по 1-е января 1836-го года. [М., 1836].
32. Пенчев И., Станишева Д., Станков В. Въпроси на българистиката в съветското езикознание. — Български език, 1967, кн. 5.
33. Соловьев С. М. Каченовский М. Т. — В кн.: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета. Ч. 1. М., 1855.
34. Русский биографический словарь. Т. 8. Спб., 1897.
35. Советская историческая энциклопедия. Т. 7., 1965.
36. Отчет о состоянии и действиях Императорского Московского университета за 1835/6 академический и 1836 гражданский годы. [М., 1837].
37. Венедиктов Г. К. К начальной истории славяноведения кафедры в Московском университете. — Советское славяноведение, 1983, № 1.
38. Именной список всем чиновникам и преподавателям, находящимся в Императорском Московском университете. — В кн.: Отчет о состоянии и действиях Императорского Московского университета за 1835/6 академический и 1836 гражданский годы. [М., 1837].
39. Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета. Ч. 1. М., 1855.
40. Шевырев С. История Московского университета. М., 1855.
41. Отчет о состоянии и действиях Императорского Московского университета за 1836/7 академический и 1837 гражданский годы. [М., 1838].
42. Потапенко Е. К. Юри Иванович Венелин и българският народ. — Исторически преглед, 1978, кн. 6.
43. Лунина М. В. Грамматика нынешнего болгарского наречия Ю. И. Венелина. — В кн.: Славянская филология. Сб. статей. М., 1951.
44. Венелин Ю. О зародыше новой болгарской литературы. М., 1838.
45. Априлов В. Съчинения. София, 1968.
46. Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 8. Спб., 1887.

К БИОГРАФИИ П. И. ПРЕЙСА

С. В. Смирнов

Петр Иванович Прейс был одним из первых ученых, стоявших у истоков русского университетского славяноведения. В. И. Ламанский, оценивая его научные заслуги, писал: «В истории славяноведения по времени и по ученой подготовке, по дарованиям и по заслугам, Прейс стоит непосредственно за Добровским, Востоковым, Копитаром и Шафариком. В России и вообще в славянстве он является первым по времени крупным ученым в области сравнительного языкознания и первым критиком Бопповой грамматики. В России и вообще в славянстве он был и первым ученым знатоком литовского языка. Он же в России является и первым отличным исследователем славянских древностей. Уже в 1843 году ему ясны были разные недочеты, пробелы и недостатки знаменитого труда Шафарика «Славянские древности». Небольшие статьи его о ц.-сл. языке, о среднеболгарском наречии, о глаголической письменности, об эпической поэзии у сербов и проч., явившиеся с полвека тому назад, и теперь должны быть рекомендованы всем начинающим славистам, как работы образцовые. В этом отношении они разделяют редкую честь в славяноведении, заодно с разными статьями и исследованиями Добровского, с рассуждениями и наблюдениями Востокова»¹.

Жизнь и научная деятельность Прейса уже неоднократно освещались в литературе. Тем не менее многое в его биографии продолжает оставаться неясным. До сих пор не удается установить даже месяц и день его рождения. Во многих работах встречаются довольно существенные неточности. Например, в книге «Русское языкознание в Петербургском-Ленинградском университете» мы читаем: «Предварительную подготовку Петр Иванович Прейс прошел в Дерпте, в профессорском институте, и в Петербургской академии наук под руководством А. Х. Востокова... В мае 1846 г. П. И. Прейс умер в возрасте 36 лет, не завершив своей докторской диссертации»². Но, во-первых, Прейс никогда не учился в Профессорском институте при Дерптском

университете, в то время (1828—1838) он служил младшим и затем старшим учителем в местной гимназии, во-вторых, незавершенной осталась магистерская диссертация. Нередко Прейса называют профессором, хотя, не имея ученой степени, он числился преподавателем славянских наречий.

Изучение материалов, хранящихся в Ленинградском государственном историческом архиве (ЛГИА), позволяет дополнить и уточнить биографию Прейса рядом новых фактов.

О детских и гимназических годах Прейса почти никаких сведений не сохранилось. В 1824 г. он поступил в Петербургский университет своекоштным студентом. 16 ноября 1827 г. попечитель учебного округа обратился в Совет университета с предложением избрать «способных, усердных и, как по нравственным, так и по сведениям своим, надежных учителей русского языка и словесности для Рижской и Ревельской губернских гимназий» и, «избрав из учащихся в Университете шесть человек с такими познаниями и поведением, кои могли бы в полной мере удовлетворить высочайшему его императорского величества желанию, сообщить ему (г. министру) именной им список»³. Прошение подали десять человек, в том числе Прейс, который из-за смерти отца оказался в трудном материальном положении. Четверо из них сразу получили отказ, так как не знали немецкого языка. Для остальных было произведено испытание, из которого выяснилось, что Прейс знает русский язык хорошо, русскую словесность — хорошо, немецкий язык — достаточно. На основе этого факультет счел «Прейса (Петра), студента историко-филологического факультета 2-го курса» способным учить русскому языку в нижних классах. В связи с этим ему было выдано свидетельство следующего содержания: «Дано сие студенту императорского С.-Петербургского университета историко-филологического факультета Петру Прейсу в том, что он по успехам в науках будучи избран сим университетом для занятия места учителя российской словесности с обязанностию преподавать также российскую историю и географию в учебных заведениях Дерптского округа определен ныне по высочайшему повелению младшим учителем в Дерптскую гимназию и на основании § 9-го Устава учебных заведений утвержден в чине 10 класса, почему из ведомства С.-Петербургского университета и уволен. Во время же нахождения его в сем университете вел себя благонравно как прилично образованному воспитаннику. 25 апреля 1828 года»⁴. Соответственно в формулярном списке была произведена запись, что Прейс «по окончании курса наук в императорском С.-Петербургском университете удостоен звания действительного студента историко-филологического факультета»⁵.

По уставу 1835 года в четырех русских университетах (Петербургском, Московском, Харьковском и Казанском) были открыты кафедры истории и литературы славянских наречий. 19 фев-

раля 1836 года Прейс обратился к попечителю Петербургского учебного округа с прошением, в котором выражал желание готовиться к занятию этой кафедры и просил «о дозволении ему держать экзамен на степень магистра либо по возвращении из путешествия по славянским землям, либо после предварительного, в течение одного года, руководства наставлениями известного знанием славянских наречий г. Востокова в С.-Петербурге»⁶. Совет университета 7 марта обсудил это прошение и нашел второе условие более целесообразным.

На это решение попечитель ответил следующим письмом от 16 июня 1838 года: «Совету императорского С.-Петербургского университета. Вследствие представления моего, основанного на предложении Совета от 13 минувшего марта № 101, г. министр народного просвещения с предложением от 10 текущего июня № 6498 изъявил согласие на причисление к С.-Петербургскому университету на один год старшего учителя Дерптской гимназии Прейса, предназначенного к занятию со временем кафедры истории и литературы славянских наречий, и сделав вместе с тем распоряжение об увольнении его от настоящего места служения, предоставляет мне, по прибытии сюда Прейса, поручить его в занятиях по сказанному предмету руководству г. Востокова, с производством ему, Прейсу, во время пребывания в здешней столице, в течение одного года, со дня прекращения жалования в Дерпте, на содержание тысячи восьмисот рублей из университетских экономических сумм. При сем г. министр предлагает обязать Прейса выдержать здесь испытание на степень кандидата, буде не имеет оной, и на степень магистра, и по истечении годичного срока пребывания его при здешнем университете донести об успехах его занятий для учинения распоряжения об отправлении его за границу, если он по успехам своим будет признан того достойным. О сем предлагаю Совету университета для надлежащего исполнения с тем, чтобы Совет не оставил также войти в сношения с г. Востоковым и просить его принять под особое свое попечение и руководство помянутого г. Прейса на избранном им ученом поприще»⁷.

В связи с уходом из Дерпта попечителем Дерптского учебного округа Прейсу был выдан аттестат.

«Аттестат

По указу его императорского величества дан сей аттестат титулярному советнику- Петру Иванову Прейсу в том, что он русский подданный сын иностранца, бывшего учителя музыки, в службу вступил по высочайшему повелению младшим учителем русского языка при Дерптской гимназии 12 мая 1828 года. Указом Правительствующего сената от 22-го генваря 1834 года за № 276 произведен в титулярные советники со старшинством с

12-го мая 1831 года, за усердие к службе получил благодарность попечителя Дерптского учебного округа 24 февраля 1837 г., на открывшуюся вакансию помещен старшим учителем русского языка и словесности при Дерптской гимназии 10 октября 1837 года. Во время службы своей аттестовался всегда способным и к повышению чина достойным; в штрафах, под судом, в отпуску и в отставке не был; от роду двадцати восьми лет; холост, римско-католического вероисповедания. Ныне же от должности старшего учителя в Дерптской гимназии уволен оснадцатого июня сего 1838 года для причисления его, согласно предписанию г. министра народного просвещения от 10 июня сего же года за № 6449 к С.-Петербургскому университету»⁸.

После приезда Прейса в Петербург выяснилось, что он должен сначала держать экзамен на звание кандидата, без которого нельзя было приобрести ученую степень магистра. Пришлось писать прошение попечителю следующего содержания:

«Ваше сиятельство
милостивый государь!

В письме от 19-го февраля сего года из Дерпта осмелился я обратиться с покорнейшею просьбою к Вашему сиятельству о доставлении мне счастья быть на том поприще, которое любимым моим занятиям дало бы основание прочное и направление положительное. Непременное условие, которое правительство требовало от посылаемого за границу для изучения славянских языков было то, чтобы избранный для сей цели имел степень по крайней мере магистра. Мне, не имеющему никакой степени, представлялись две возможности, или по возвращении из-за границы выдержать экзамен и магистерский и докторский, или еще до отправления в славянские земли приобрести степень магистра. В последнем случае на приготовление испрашивал я годового срока, в продолжение которого надеялся выполнить требование правительства. Тем тверже я был в этой надежде, что, приготовляясь к экзамену на степень магистра российской и славянской словесности, я в это время исключительно занимался бы только своим предметом. И какие отличные виды представляло мне пребывание в Петербурге! Руководство А. Х. Востокова, посевшего в изучении славянских языков, беседы с другими знатоками этого предмета, из которых некоторые сами были в землях славянских, возможность пользоваться сокровищами библиотек, находящихся в сей столице и наконец многочисленные случаи к практическому изучению языка польского, коего и древнейшие, литературные и исторические памятники, могли мне быть доступны. — Таким образом я утешал себя основательною надеждою, что познания мои в языках церковнославянском, древнерусском с его различными изменениями и польском будут зна-

чительно дополнены, так что за границею мне бы оставалось исключительное изучение прочих диалектов.

На прошение последовало предписание его высокопревосходительства г. министра народного просвещения, сообщенное мне г. попечителем Дерптского учебного округа чрез дерптского директора училищ. На основании сего предписания, по причислении к С.-Петербургскому университету, был я уволен от должности старшего учителя российской словесности при Дерптской гимназии и получил приказание отправиться в С.-Петербург с тем, чтобы по истечении года я выдержал экзамен на степень магистра и кандидата.

Обстоятельства семейные за десять лет пред сим заставили меня оставить С.-Петербургский университет в то время, когда мне до окончательного экзамена оставалось только полгода, и отправиться в Дерпт — по высочайшему повелению — на место учителя в тамошней гимназии. Здесь-то занятие литературою и древностями славянских народов, бывшее еще в Петербургском университете любимым моим предметом, сделалось исключительно специальным занятием. Весь досуг, хотя и умеренный, после трудов службы, был посвящен на удовлетворение страсти моей к изучению славянских языков. С многими жертвами сопряженное изучение церковнославянского, древнерусского, богемского, польского, сербского, русинского, их литературы и истории, равно как и сравнительного языкознания, было содержанием моей деятельности, постоянной и исключительной.

По изложении сих обстоятельств долгом своим почитаю объяснить Вашему сиятельству, что непременное условие держать экзамен на степень кандидата сопряжено для меня со многими затруднениями. Десятилетняя служба и занятие одним предметом поставили меня к большей части факультетских наук в отношения довольно отдаленные, как это обыкновенно бывает со всеми, которые постоянно занимаются одним специальным предметом. Между тем как решением его высокопревосходительства г. министра народного просвещения я должен буду соединить две обязанности — ученика, подготавливающегося к экзамену, и вместе обязанность ученого, на душе которого лежит наука. Приготовление к экзамену на степень кандидата займет почти все время, которое бы мне следовало употребить на занятие моим главным предметом. — Таким образом ожидания правительства, при всех средствах, которые оно мне открывает, в отношении к успехам моим в изучении славянских языков, не могут быть исполнены в той мере, в какой оно их вправе от меня требовать. Затруднения увеличиваются тем еще более, что в то же самое время мне предстоит выдержать экзамен на степень магистра, написать и защитить диссертацию.

Высоко ценя благодеяние правительства и вместе желая оправдать ожидания оною, я почитаю долгом своим по совести и

откровенно сказать, что только с освобождением меня от экзамена на степень кандидата вижу возможность удовлетворить требованиям начальства. В противном случае я должен буду лишиться деятельности в области той науки, которая издавна составляла любимый предмет моих занятий.

Подвергая сии обстоятельства на благоусмотрение Вашего сиятельства, я остаюсь в совершенной уверенности на покровительство, которое Вы оказываете занимающимся науками.

С истинным высокопочтением и совершенною преданностию честь имею быть Вашего сиятельства милостивый государь покорный слуга Петр Прейс.

СПург 1838 года Июля 28-го числа⁹.

Попечитель 28 августа 1838 года сообщил, что он ходатайствовал об удовлетворении этой просьбы. Но управляющий министерством народного просвещения ответил, что он не вправе освободить Прейса от экзамена. Однако чтобы дать ему возможность подготовиться к поездке за границу, он согласен отложить приобретение степени магистра до возвращения из путешествия.

Таким образом, Прейс в течение года занимался под руководством Востокова изучением церковнославянского языка, древних памятников, эпических и лирических песен у разных славянских народов, знакомился с новейшими работами по сравнительному языкознанию. Востоков высоко оценил успехи своего ученика. 2 июня 1839 года он писал ректору университета И. П. Шульгину: «Милостивый государь Иван Петрович! На письмо Ваше от 31 мая сего года за № 250 имею честь ответить, что г. Прейс, занимающийся под моим руководством изучением древних памятников словенского языка, имеет к тому желаемые способности и отличное рвение, сколько я мог заметить; и по приобретенным им познаниям я считаю его достаточно приготовленным к выдержанию экзамена на ученую степень, как уже я писал о том и к его сиятельству господину попечителю С.-Петербургского учебного округа.

С истинным почтением и совершенною преданностию имею честь быть Вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою. А. Востоков»¹⁰.

Тем не менее ректор снова поднимает вопрос о приобретении ученой степени. В ответ Прейс обращается к нему 5 июля 1839 года со следующим письмом:

«Г. ректору императорского С.-Петербургского университета, статскому советнику и кавалеру Ивану Петровичу Шульгину.

По поводу словесного приказания Вашего высокородия касательно испытания моего на степень кандидата честь имею представить на благоусмотрение Ваше следующие обстоятельства.

В письме моем от 19-го февраля 1838 года из Дерпта к г. попечителю С.-Петербургского учебного округа осмелился я просить его сиятельство о принятии меня в число отправляемых

в чужие края для изучения славянских языков. Просьба моя была принята, как попечителем С.-Петербургского учебного округа, так и Советом университета, с предоставлением мне права искать степени магистра в течение годичного срока. В последствии времени его высокопревосходительству г. министру народного просвещения угодно было уволить меня от должности старшего учителя российской словесности при Дерптской гимназии, с тем, чтобы по истечении года я держал экзамен на степень магистра и кандидата, буде сей последней не имею.

По прибытии моем в С.-Петербург нашел я себя в необходимости просить об освобождении меня от экзамена на степень кандидата. Честь имею присоединить к сему объяснению письмо, поданное мною по сему поводу г. попечителю С.-Петербургского учебного округа и содержащее в себе изложение причин, затрудняющих для меня приобретение степени кандидата. Я готов был даже отказаться от предназначения моего, если бы просьба моя не могла быть принята. Надежду же свою на успех оной я основывал на следующем. Все те, которые до сего времени посылаемы были правительством в чужие края, получали позволение, с обходом прочих степеней, приобретать степень доктора, даже без предварительного экзамена, между прочими находились и воспитанники Главного педагогического института, которые также не имели ученой степени. Мне казалось, что, быв избран Советом университета для подобной же цели, я могу быть уволен от обязанности держать экзамен по крайней мере на степень кандидата.

21-го октября 1838 года получил я от Совета университета предписание от 18-го августа 1838 года № 9074, по которому г. управляющий министерством народного просвещения, согласно прошению моему, желая мне «дать возможность заняться теперь собственно приготовлением к поездке за границу, для изучения там главного моего предмета», полагал «освободить меня от обязанности приобрести степень магистра до возвращения из чужих краев и что тогда я могу достигнуть этой степени по правилам, какие в то время будут существовать». На основании сего я исключительно занимался приготовлением себя к поездке за границу, не развлекаясь предметами, к которым бы обязывал меня экзамен на степень кандидата и которые так далеки от предмета моего предназначения. — В противном случае я не мог бы исполнить того, чего требовали от меня и правительство и собственное убеждение. В какой мере достиг я предполагаемой цели, может засвидетельствовать г. Востоков, единственный знаток в России этого предмета и судия.

Вследствие всего здесь изложенного осмеливаюсь просить ваше высочородие, в смысле прежних моих объяснений и согласно с вышеприведенным решением г. управляющего министерством народного просвещения от 18-го августа 1838 года:

«освободить меня от обязанности приобрести степень магистра до возвращения из чужих краев»¹¹.

Просьба Прейса была удовлетворена. Предстояло составить программу-путешествия. План О. М. Бодянского, отправившегося в славянские земли в октябре 1837 года, отличался широтой, но не выделял главного предмета занятий. Поэтому, с одной стороны, было включено много побочных и второстепенных задач, а, с другой, явно ощущалось несоответствие между отведенным временем и запланированным объемом работы. Поэтому Прейс, хотя и опирался на план Бодянского, сделал свой план более конкретным и целенаправленным. Приводим его полностью.

«Записка

о путешествии по заграничным славянским землям

Отправляющийся в заграничные славянские земли обязан исключительно иметь в виду изучение **языков и литератур славянских**. Древности, история, палеография и т. д., также просмотр архивов не должны отвлекать его от главной цели. Таким образом излишне, кажется, путешествие по странам, где славянское население исчезло и где находятся одни только памятники чисто исторические, но не литературные. Этим сбережется время, которое можно будет, с большею пользою употребить на преследование главной цели в путешествии по землям чисто славянским. — На основании этого, позволено думать, что поездка в Северную Германию и Италию, по всей вероятности, не принесет существенной пользы тому, который обязан иметь в виду литературно-филологические изучения. В отношении к при-Балтийским странам Германии можно утвердительно сказать, что для языка и литературы здесь нельзя ожидать приобретений. В рассуждении Италии должно будет переговорить с Копитаром, который недавно там был. Судя по известиям, сообщенным г. Палацким и по другим сведениям, можно думать, что посещение Милана, Генуи, Болоньи, даже Рима и Венеции едва ли представит особенные выгоды. Во всяком однако же случае подробности можно будет узнать от Копитара, Палацкого и других.

В последние десять лет сравнительная филология сделала такие блистательные и огромные успехи, что славянский языкоизыскатель не может не следовать за ходом их. Сравнительная филология получила ныне совершенно иное значение. Теперь дело заключается не в том, чтобы отыскать тождество звуков в сравниваемых языках и таким образом вывести начало одного языка из другого. В новейшее время метода эта оставлена; убеждение сделалось повсеместным, что европейские языки имеют материал общий. Вся важность вопроса заключается в определении органических различий и в развитии характеристических начал отдельных языков, в развитии того, что им особенно свойственно. В этом отношении для исследователя славянских язы-

ков становится чрезвычайно настоятельным изучение литовского языка: в чем никак нельзя сомневаться после того, что высказано об этом предмете Гриммом, Боппом, Боленом, Резою, Шафариком и другими. В последнее время Потт всего ошутительнее сделал эту истину, преимущественно в новом сочинении своем: *De Borissio-Lithuanicae tam in Slavicis quam letticis linguis principatu*. Недавно еще справедливо заметил Шафарик (*Casopis českého Museum* 1838, с. 255), что без вреда нельзя «исключить литовского языка из круга славянских и что, при сличении последних между собою, первый есть регулятив, подобно как язык готский для изучающего германские диалекты».

После этого небесполезным будет посетить Кенигсберг, где в тамошнем университете есть кафедра языка литовского. Некоторые сведения, правда, небольшие, приобретенные Прейсом в этом языке, подают надежду, что изучение его не составит особенной трудности и не останется напрасным для науки.

Из Кенигсберга отправиться в Данциг и селения кашубов, для собрания сведения о языке их и проверки замечания Мронговнуса, будто наречие кашубов ближе к русскому, нежели к польскому (*Библиографические листы*, с. 251). После этого побывать в Берлине и войти в сношение с Боппом, который в своей «*Vergleichende Grammatik*» оказал важные услуги славянскому языку, пояснением его грамматических форм в склонениях и спряжениях. Сверх того можно ожидать много поучительного от знакомства с Графом, Бенари и другими, которые много содействовали успехам сравнительной филологии. Наконец вот еще одно обстоятельство, которое сильно влечет сюда того, который в продолжение 10-и лет усердно занимался педагогиею практически и теоретически: это учебные заведения в Пруссии. Как бы приятно было увеличить познания в этом предмете, на пользу отечественного просвещения.

Из Германии отправиться в Великое герцогство Познанское, отсюда в Силезию, Саксонию, Лузанию, Моравию и Богемию. Указателями при путешествии по этим землям послужат известия и замечания, которые напечатаны в разных сочинениях гг. Кеппена, Добровского, Копитара, Мацевского, Строева (в протоколах Археографической комиссии) и т. д. Сверх того знакомство с учеными в этих землях будет надежным руководством для путешествующего. Вообще сии земли более известны, точнее описаны, большее число заключают в себе делателей. В продолжение года можно здесь сделать важные приобретения, особенно в Праге.

Из Богемии поехать в Вену, где воспользоваться руководством Копитара и пособиями тамошних библиотек.

Из Вены отправиться в Пест и Офен, потом проехать в Штирию, Каринтию, Крайну, Кроатию и Славонию; из Лайбаха в Триест и оттуда в Венецию, если впоследствии окажется, что

поездка в Венецию может быть особенно полезна для изучающего славянские языки и литературу. — Страны, где господствует наречие хорутанское, должны особенно обратить на себя внимание путешественника. — Труды Копитара и других сделали это наречие чрезвычайно важным в отношении историческом и филологическом.

Отсюда путешественник должен поехать в Далмацию, Герцеговину, Рагузу, Скутари, Черногорию, Боснию, Сербию и Булгарию и чрез Молдавию, Валахию и Седмиградскую область в Галицию, где, как известно, для деятельности славянского ученого представляется обширное поле. В числе других предметов, наречие русинов столь важное по отношению к малороссийскому, должно обратить особенное его внимание.

Из Кракова направить путь в Царство Польское; в Литве вновь обратиться к языку литовскому и короче познакомиться с наречием белорусским.

Путешествие по землям, где господствуют славянские наречия, принадлежащие к иллирийской отрасли, потом поездка в Галицию и Царство Польское, едва ли может совершиться в продолжение годового срока, особенно если сообразить значительное пространство земли, малоизвестность некоторых из упомянутых стран, довольно ограниченное число надежных руководителей и т. д. Может быть, на путешествие по этим землям потребуются не менее полутора года»¹².

20 июня 1839 года царь «изъявил высочайшее соизволение на отправление бывшего старшего учителя Дерптской гимназии Прейса, для изучения истории и литературы славянских наречий, за границу как в славянские земли, так и в некоторые другие места, славящиеся или пребыванием в них известных по сей части ученых, или в другом отношении к означенным предметам, на два года с половиной, с производством ему на содержание и путевые издержки по четыре тысячи рублей в год из экономической суммы С.-Петербургского университета»¹³.

29 сентября 1839 года Прейс отправился в путь. Путешествие проходило по намеченному плану. Не удалось посетить только Болгарию. Когда Прейс и Срезневский выразили желание поехать в эту страну, то черногорский владыка сказал им, что это можно сделать из-за владычества турок лишь в том случае, если имеется в запасе по крайней мере две головы. Путешествие Прейса по славянским землям нашло достаточно полное отражение в научной литературе, а также в его донесениях и письмах. Здесь хотелось бы обратить внимание еще на один факт. Прейс должен был вернуться в Петербург 29 марта 1842 г., но по болезни задержался на семь месяцев. В донесении от 29 октября 1842 года он подробно объясняет причину задержки.

«В Совет императорского С.-Петербургского университета
от Петра Прейса

донесение.

Честь имею донести Совету университета об обстоятельствах, бывших причиною столь долгого пребывания моего в Венгрии.

В донесении от 14-го (н. с.) апреля сего года я уведомлял Совет университета о болезни (rheumatisch — gichtischer Tieber), постигшей меня на пути из Песта в Шемниц. За нею последовала другая — продолжительная трехдневная лихорадка. Вслед за тем на теле выступила сыпь и потребовала новой помощи врача. Он предписал мне — вместе с наружными средствами — употребление минеральных вод в Склене, недалеко от Шемница. — Воды сии имели отчасти желаемое действие. Новый пароксизм лихорадки принудил меня оставить Склени и возвратиться в Шемниц, где, по миновании лихорадки, получил я от доктора совет посетить лежавшие мне по пути воды в Слпаче. — Употребление сих вод — вопреки уверениям доктора — не только не принесло обещанной пользы, но еще усилило как сыпь, так и лом в костях, на который со стороны врача до того не было обращено должного внимания, несмотря на постоянные мои жалобы. Прибыв в Быстрицу, я немедленно обратился к тамошнему врачу с просьбою совета. По мнению его, пользование доктора в Шемнице было превратное и, для предупреждения весьма опасных последствий, он полагал необходимым без отлагательства приступить к новому лечению, которое и восстановило вполне мое здоровье, так что я надеюсь беспрепятственно совершить путь от Кракова до С.-Петербурга.

В удостоверение вышесказанного честь имею приложить свидетельство обоих врачей за подписью местных начальств¹⁴.

Прейс вернулся в Петербург 16 ноября 1842 года. 21 декабря Совет I отделения рассмотрел программу его чтений и нашел ее удовлетворительной. Но самочувствие Прейса было неважным. К прежним недомоганиям прибавилась боль в горле и вследствие этого потеря голоса. Поэтому вступительная лекция, посвященная возникновению и задачам славяноведения, состоялась только во второй половине марта 1843 года. Новые предметы при недостатке пособий отнимали много времени и сил. В 1844 году царь по ходатайству министра народного просвещения разрешил Прейсу подвергнуться испытанию прямо на степень магистра. Это его воодушевило, и он начал собирать материал для магистерской диссертации, предметом которой избрал богумильскую ересь. Однако сил становилось все меньше. 6 мая 1846 года С. С. Куторга писал ректору: «Небезызвестно Вашему превосходительству, что преподаватель славянских языков П. И. Прейс давно уже страдает тяжкою болезнью; он находится на службе только что при университете, и потому вовсе лишен средств на значительные издержки пользования. Он не может теперь писать, и потому поручил мне представить на благоусмотрение Вашего превосходительства его покорнейшую просьбу об исходатайство-

вании ему, в случае возможности, пособия в триста рублей серебром»¹⁵. Но через пять дней Прейса не стало.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Живая старина», 1890, вып. 1, с. 108.
2. Русское языкознание в Петербургском-Ленинградском университете. Под ред. проф. Н. А. Мешерского, изд. ЛГУ, 1971, с. 6.
3. ЛГИА, ф. 14, оп. 1, д. 1270, л. 1—2.
4. ЛГИА, ф. 14, оп. 1, д. 4712, л. 1.
5. ЛГИА, ф. 14, оп. 1, д. 4712, л. 4.
6. ЛГИА, ф. 14, оп. 2, д. 163, л. 1.
7. ЛГИА, ф. 14, оп. 2, д. 163, л. 5.
8. ЛГИА, ф. 14, оп. 2, д. 163, л. 19.
9. ЛГИА, ф. 14, оп. 2, д. 163, л. 8—9.
10. ЛГИА, ф. 14, оп. 2, д. 163, л. 14. Письмо А. Х. Востокова попечителю С.-Петербургского учебного округа см.: Переписка А. Х. Востокова в повременном порядке с объяснительными примечаниями И. Срезневского. — Сборник ОРЯС, т. V, вып. II. 1873, с. 466.
11. ЛГИА, ф. 14, оп. 2, д. 163, л. 16—17.
12. ЛГИА, ф. 14, оп. 2, д. 163, л. 21—24.
13. ЛГИА, ф. 14, оп. 2, д. 163, л. 20.
14. ЛГИА, ф. 14, оп. 2, д. 163, л. 30—31.
15. ЛГИА, ф. 14, оп. 1, д. 4712, л. 11.

ЕЩЕ РАЗ НА ТЕМУ «ВУК КАРАДЖИЧ И РОССИЯ» (В связи с выходом книги Миодрага Поповича «Йот»¹)

П. А. Дмитриев, Г. И. Сафронов

В 1981 г. в Белграде издана книга югославского ученого, автора широко известных монографий о Вуке Караджиче и о сербском романтизме² Миодрага Поповича «Йот». На этот раз М. Попович обратился к специальному исследованию вопросов, связанных с историей длительной и полной драматизма борьбы В. Караджича за введение в сербскую письменность реформированной им азбуки, центральное место в которой занимает борьба вокруг латинской буквы *j*, доставившей, как известно, великому сербскому реформатору больше всего неприятностей и огорчений.

Инициатором включения *j* в азбуку, разработанную В. Караджичем, был его наставник и друг Варфоломей (Ерней) Копитар. Советуя В. Караджичу ввести знак *j* в азбуку, предназначенную для православных сербов, он прежде всего исходил из того, что такой знак необходим для адекватного выражения звукового состава сербохорватского языка. Однако при этом В. Копитар, будучи австрофилом, надеялся, как отмечает П. Ивич, что таким образом удастся отделить сербскую письменность от славянской православной традиции. Кроме того, по его мнению, введение *j* в южнославянскую кириллицу в дальнейшем должно было облегчить принятие южными славянами комбинированной латинско-кириллической азбуки, которую он сам намерен был составить³. Соглашаясь с этим утверждением П. Ивича, М. Попович подчеркивает, что вопрос о введении буквы *j* не был ординарным моментом в реформаторской деятельности В. Караджича. С точки зрения фонологической и орфографической этот знак занимает в сербском письме исключительное место: введение его дало возможность освободить сербскую письменность сразу от десяти излишних букв (с. 27). Кроме того, отмечает М. Попович, «как буква, имеющая большое значение для реформы азбуки в орфографическо-фонологическом смысле, латинский йот играл и другую, может быть, более крупную роль

в сербской культуре. Фактически, из-за него и велась пятидесятилетняя орфографическая война (1818—1868), которая имела глубокий культурный и общественно-политический смысл (с. 28).

Увлекательному рассказу о сложных и подчас противоречивых перипетиях этой длительной войны и значению, которое она имела для развития сербской письменности и истории сербской культуры, посвящена эта книга. Автору удалось написать интересное и нужное исследование, введя в научный оборот ряд новых фактов, а также указав на факты, казалось бы известные, но не привлекавшие до сих пор внимание ученых или получившие в книге новое освещение. Так, например, М. Попович приходит к выводу, что и В. Копитар, и В. Караджич знали, что в сербских рукописях и до 1818 г. употреблялась буква j, но почему-то В. Караджич никогда не использовал этого аргумента в свою защиту, а упорно называл свой йот латинским (с. 9). Из книги мы узнаем, что В. Караджич никогда не называл свою азбуку кириллической. Он различает три разновидности букв: славянские или кириллические (в церковной азбуке), гражданские (в славяно-сербской азбуке), латинские (в латинице); свою азбуку называет «наша азбука», «совершенная азбука», «азбука, которой по-сербски можно писать» (с. 52—53). Автор книги сообщает нам, что в появлении в 1824 г. известной рецензии Н. Греча на лейпцигское издание сербских народных песен, содержавшей резкую критику предложенной В. Караджичем азбуки, не последнюю роль сыграл доверенный человек князя Милоша Обреновича в Москве Михайло Герман, который хвастался в одном из своих писем, что уговорил Н. Греча «похвалить г. Милоша Обреновича, а изругать Вука Караджича...» (с. 62)⁵. Исключительно интересным представляется произведенный автором книги анализ социального состава сторонников и противников (йотовцев и еровцев) реформы В. Караджича в Сербии, в том числе и подписчиков на его книги. Этот анализ свидетельствует о том, что в тридцатые, а особенно в сороковые годы орфография В. Караджича, его новые буквы стали символами определенной национально-политической и культурной ориентации. М. Попович приходит к выводу, что борьба вокруг реформы В. Караджича и его азбуки была «классово-политической»: церковь настаивала на церковнославянском письме, консервативное городское население — на славяно-сербской кириллице, демократическая сербская интеллигенция во главе с В. Караджичем боролась за народный литературный язык и новую кириллицу (с. 50)⁶.

Не перечисляя других несомненных достоинств книги М. Поповича, отметим, однако, некоторые положения автора, которые не кажутся нам убедительными и в достаточной степени аргументированными.

М. Попович полагает, что, введя йот в «Сербском словаре», В. Караджич с помощью этой буквы «символически обозначил уже в 1818 г. свою новую европейскую ориентацию» (с. 57), хотя сам этого в то время специально не подчеркивал.

Думается, однако, что В. Караджич (во всяком случае в то время) меньше всего думал о европейской ориентации своей азбуки, тем более о том, чтобы обозначить ее каким-то одним символом. Он был озабочен прежде всего тем, чтобы адекватно отразить в графике фонемный состав сербохорватского языка. У нас нет также оснований предполагать, что уже в 1818 г. В. Караджич думал о том, что йот будет способствовать сближению с «братьями римского закона», т. е. хорватами (об этом он начнет думать позднее, внося изменения и в азбуку, и в правила правописания). Решающим моментом, определившим выбор латинского *j* вместо греческого *i* был, несомненно, совет В. Копитара. Поэтому В. Караджич, защищая йот, всегда называет только фонологические и орфографические основания для его введения и не говорит (а не умалчивает, как полагает М. Попович) ни о своей европейской ориентации, ни о необходимости сближения с хорватами.

Говоря о том, что В. Караджич в 1818 г. не считал букву йот символом своей европейской ориентации, мы, разумеется, не отрицаем того факта, что вся реформаторская деятельность В. Караджича объективно (в сочетании с другими социально-политическими и экономическими преобразованиями, проводившимися в Сербии в то время) не только возрождала самобытную сербскую национальную культуру, но и способствовала установлению более тесных связей ее с культурами других, в том числе и европейских, народов: пользуясь своим национальным литературным языком, сербы теперь получили непосредственный доступ к культурным богатствам других народов, минуя посредничество чужого для них русско-славянского языка.

Сообщая о том, что З. Орфелин задолго до В. Караджича употребил (один раз) в своей «Калиграфии» букву *j* («маја 1759»), М. Попович пишет: «Естественные пути нашей литературы уже при Орфелине вели на Запад, но политические и культурные обстоятельства того времени направляли сербов на Восток, на русско-славянскую литературу, язык и правописание...» (с. 23). В данном случае мы снова имеем дело с толкованием буквы *j* как символа европейской ориентации. Думается, однако, что и З. Орфелин не придавал этой букве такого значения. Более того, он мог (как допускает и сам М. Попович) использовать ее по ошибке. Кроме того, совершенно непонятно, о каких «естественных путях» развития сербской литературы, которые будто бы существуют абстрактно, вне зависимости от политических и культурных обстоятельств, идет речь. Разве закономерности литературы, естественные пути ее развития в конкрет-

но-исторические периоды определяются не социально-экономическими условиями? Эти условия у сербов в XVIII в. сложились так, что в борьбе за сохранение своей национальной самобытности они в результате объективной необходимости вынуждены были обратиться к русско-славянскому языку как орудию своей культуры. Это был вынужденный, не лучший, но объективно необходимый период в развитии сербской литературы. Кстати, русско-славянский язык, русско-славянская литература не закрывали путей на Запад. Сам М. Попович в другой книге, размышляя о сербском романтизме, видит историческое значение русско-славянской литературы в том, что она установила связи с очагами европейской культуры, без которых дальнейшее духовное и культурное развитие сербов было бы затруднено. Он видит историческую необходимость в том, что «европеизация сербской культуры сначала идет опосредованным путем, через Восток, параллельно с включением родственной русской культуры в единое европейское духовное целое»⁷. По нашему мнению, для сербской литературы того времени именно этот путь оказался **естественным** (исторически обусловленным), хотя и атипичным, по сравнению с литературами других народов. Не сказываются ли в признании этого пути неестественным отголоски старого, превзойденного уже в трудах И. Скерлича необоснованно отрицательного отношения к роли русско-славянского, славяно-сербского языков и так называемой русско-славянской литературы в истории сербского народа?⁸

В специальной главе М. Попович обращается к теме «В. Караджич и Россия», которая уже неоднократно освещалась в отечественной и зарубежной славистике⁹. Автора интересуют два аспекта этой проблемы: отношение В. Караджича к России и отношение русских ученых и официальной России к В. Караджичу.

Касаясь первого аспекта, автор приходит к выводу, что все известные нам документы и многочисленные факты из биографии сербского ученого свидетельствуют о постоянной и глубокой преданности В. Караджича России и русским. М. Попович имеет в виду письма В. Караджича к русским ученым и министрам, его книги, направлявшиеся русскому царю, посвящения книг и дарственные надписи влиятельным и знатым русским вельможам, его связи с русским посольством в Вене, направление детей в Россию на учебу, готовность самого В. Караджича поступить на русскую службу, его статью начала 40-х годов, в которой он открыто защищал политику русского государства. Как иллюстрацию автор приводит отрывок из письма В. Караджича советнику русского посольства в Вене Г. Г. Струве: «От самых лет детства моего я люблю Россию, как любит большая часть сербов: как языком и религией сродную сербам державу, которою они всегда (хотя и тайно в душе только) гордятся, думая иметь

участие в ее силе и славе» (с. 109). Однако в освещении М. Поповичем вопроса об отношении В. Караджича к России трудно согласиться со следующими словами автора: «Хотя В. Караджич был противником **русификации** (подчеркнуто нами — П. Д., Г. С.) сербского языка и литературы, в политике он нигде и никогда **открыто** (подчеркнуто нами — П. Д., Г. С.) не выступал против русских» (с. 109). Это положение автора вызывает возражения по крайней мере по двум причинам.

Во-первых, вводя термин «**русификация** сербского языка и литературы», М. Попович неадекватно характеризует литературно-языковую ситуацию в Сербии до реформы В. Караджича и само существо его реформы. Действительно, в течение XVIII в. богослужебные книги русской редакции стали единственно признанными книгами в сербской церкви, русские учебники долгое время являлись основными пособиями в сербских школах, а начало издательской деятельности в Сербии сводилось в основном к перепечатке русских книг. Действительно, использование церковнославянского (русско-славянского) языка московской редакции привело к русификации литературного языка у сербов. Но следует ли говорить о русификации сербской литературы, основываясь лишь на наличии русско-славянских элементов в языке сербских писателей? Ведь в переосмыслении русских источников и русских тем, своеобразно адаптированных на сербской почве, во многих случаях кроются корни новой сербской национальной литературы. Может быть, следует говорить не о русификации, а о влиянии русской литературы? Во всяком случае, нам представляется более точной характеристика литературно-языковой ситуации в Сербии до реформы В. Караджича, данная в исследовании М. Бошков. «Русская книга, таким образом воспринятая у нас, — пишет она, — показывает, что ее первое влияние было исключительно теологическим, а затем постепенно перерастало и во влияние секуляризированной литературы». По мнению М. Бошков, оба компонента (теологический и светский) определенное время осуществляли свое влияние на сербскую культуру параллельно: «теологический компонент — способствуя русификации церкви и школы, обряда и языка, а светский — внося идейное и литературное влияние русского просветительства»¹⁰.

И самое главное: В. Караджич, как известно, боролся не против русско-славянского языка¹¹ и не против русификации языка сербской литературы, а **за введение в литературу нового литературного языка**, в основу которого он положил живую разговорную речь самой многочисленной в то время общественной группы сербского населения — крестьянства¹². Он не очищал русско-славянский и славяно-сербский язык от русизмов, а совершенно исключил возможность использования этих языков (независимо от степени их русификации) в литературе. Осербливание

ряда церковнославянских слов и включение их в язык литературный следует также оценивать не как очистку языка от церковнославянизмов, а как акт обогащения нового литературного языка посредством заимствования.

Во-вторых, сообщив читателю, что В. Караджич «нигде и никогда открыто не выступал против русских» (с. 109), М. Попович вольно или невольно заставляет думать, что, выступая в письмах и статьях как приверженец России, В. Караджич лицемерил, кривил душой, говорил неправду, так как на самом деле был настроен якобы антирусски. Между тем, оснований для таких настроений В. Караджича даже при всем желании в истории его взаимоотношений с русскими и Россией мы найти не сможем. Ему пришлось бороться против использования в сербской литературе русско-славянского и славяно-сербского языков. Но это никак не должно было отразиться на его отношении к русским, так как русско-славянский язык в качестве своего литературного языка сербы приняли сами, русские книги посылались сербам по их просьбе, славяно-сербский язык — творение самих сербских писателей. Ни открыто, ни тайно выступать против русских и России В. Караджич не имел оснований уже хотя бы потому, что в борьбе против славяно-сербского языка он опирался прежде всего на помощь и авторитет многих русских ученых и общественных деятелей.

В 1862 г. в «Записке», адресованной В. П. Балабину, В. Караджич как бы подводит итог своей полувековой научной и общественной деятельности и отношению к России и русским. Он говорит о «преданной любви», «приверженности» и «преданности к России во всякое время». «Во всех моих исторических трудах, — пишет он, — я с чрезвычайною заботливостью охранял имя России от всякой тени»¹³. У нас нет никаких оснований сомневаться в искренности этих слов, написанных В. Караджичем за два года до его кончины.

Второму аспекту интересующей нас темы автор посвящает целую главу: «Иот под защитой русского самодержца!».

Известно, что в то время, когда великого сербского реформатора на родине преследовали как отступника от славянства и православия, большинство русских ученых поддерживали его и морально и материально, а 4 июня 1826 г. сам русский царь Николай I по представлению министра народного просвещения подписал указ о выплате из государственной казны доктору философии Вуку Караджичу за заслуги в области славянской литературы пенсии по сто червонцев в год. Кроме этой пожизненной пенсии, В. Караджич в разное время получал и другие награды от дома Романовых: Золотую медаль (1841 г.), бриллиантовый перстень (1847 г.), орден св. Анны II степени (1862 г.). В связи с этим М. Поповича интересует, в частности, вопрос: «Почему и официальные русские круги во главе с царским дво-

ром поддерживают Вука, в то время как его деятельность действительно ведет к энергичному прекращению русификации сербской литературы и культуры?» (с. 110).

Пенсия В. Караджичу была назначена на основе реферата П. И. Кеппена. В этом реферате П. И. Кеппен охарактеризовал научные заслуги В. Караджича и отметил, что он как ученый, изучающий языки и обычаи всех задунайских славян — православных и католиков — способствует укреплению их приверженности к России. Политический аргумент, по мнению М. Поповича, для царя явился решающим при оценке деятельности В. Караджича и решении вопроса о пенсии. Развивая это положение, М. Попович стремится объяснить отношение царя к В. Караджичу особенностями внешней политики царского правительства. «Царское правительство, — пишет он, — стремилось в это время к созданию великой славянской империи. В Петербурге, царской столице, построив которую, Петр I в начале XVIII в. открыл России окно в Европу, через сто лет после его смерти строили планы, по которым Россия как будущая европейская империя простиралась бы от Балтийского моря до Альп. Границы так замышляемой империи включали не только православных славян на Балканах (сербы, болгары), но и всех католиков (поляки, чехи, хорваты, словенцы), протестантов (словаки) и униатов» (с. 111). В контексте этой глобальной и далеко идущей внешней политики, по мнению М. Поповича, яснее становятся мотивы благосклонного отношения царя к В. Караджичу, которому, благодаря определенному искусству, просьбам и напоминаниям, обращенным к разным лицам, личной находчивости, удалось «получить царскую пенсию и найти защиту от сербского духовенства и белградской олигархии там, где менее всего ее можно было бы ожидать — в русских феодальных верхах» (с. 111).

Можно согласиться с утверждением М. Поповича, что, назначая пенсию В. Караджичу, царь не только учитывал его научные заслуги, но и руководствовался определенными политическими мотивами. Но какими? Царь сам об этом ничего не сказал. В документе, полученном В. Караджичем, записано: «Во уважение засвидетельствования министром просвещения о пользе, приносимой славянской словесности»¹⁴.

Рассуждения о том, какие политические соображения скрываются за этими словами, уводят автора в область догадок и предположений. В 1964 г. М. Попович, говоря о назначении русской пенсии В. Караджичу, связывал это с притязаниями царского правительства на территории Балканского полуострова: стремясь к осуществлению этих планов, русский царь старался склонить на свою сторону сербов, и поэтому в июне 1826 г. подписал указ о назначении пенсии В. Караджичу, а за два месяца до этого послал в дар князю Милошу Обреновичу — золотую таба-

керку¹⁵. Теперь он говорит уже не о стремлении царского двора присоединить к России определенные земли на Балканах, а о планах создания великой славянской империи. Естественно, напрашивается мысль, что автор книги скорректировал свои суждения о внешней политике России в 20-е годы XIX в. в соответствии с какими-то новыми, достоверными источниками, хотя сам этих источников и не указывает.

Действительно, в последние годы в различных публикациях впервые увидели свет многие архивные документы, характеризующие международные отношения того времени. Среди них в первую очередь следует назвать осуществленное в СССР фундаментальное издание документов о внешней политике России XIX и начала XX в. Вышедшие 13 томов этого издания¹⁶ содержат большое количество материалов, характеризующих сношения России с другими странами.

Документы свидетельствуют о том, что в XIX в. Россия, действительно, активизировала свою политику на Балканах. Эта активизация была обусловлена не только заинтересованностью правящих кругов России в новых рынках и сферах влияния, но в значительной степени и тем, что со времени Кючук-Кайнарджийского договора, давшего России право выступать в защиту православного населения Османской империи, начался решающий этап в борьбе за национальное освобождение от турецкого ига греков, болгар, сербов, молдаван, валахов и других балканских народов, видевших в России свою традиционную и наиболее надежную опору. После победы над Наполеоном активизировалась политика России и в Европе. Однако ни известные нам документы, ни конкретные внешнеполитические акции России не содержат данных, свидетельствующих о том, что через 100 лет после смерти Петра I в Петербурге разрабатывались планы создания великой славянской империи. Различные проекты, которые создавались в Петербурге или обсуждались в Министерстве иностранных дел в то время, предполагали создание самостоятельных славянских государств, а не присоединение их к России¹⁷. Все сказанное объясняет, почему, говоря о якобы разрабатывавшихся в Петербурге в 1825 г. планах создания великой славянской империи, М. Попович не ссылается ни на какие источники. По-видимому, появление этого утверждения автора можно отнести за счет широко распространенного в зарубежной литературе представления о всеобъемлющем «русском панславизме» как важнейшем политическом и идеологическом направлении XIX в., о «панславистской» направленности всей политики России. В связи с этим уместно напомнить, что различные концепции славянской взаимности сначала появились у малых, национально угнетенных народов, у некоторых представителей этих народов возникали и планы объединения всех славян в одном государстве, на что в свое время указывал Ф. Энгельс¹⁸.

Таким образом, у нас нет никаких оснований связывать назначение русской пенсии В. Караджичу с какими-либо конкретными внешнеполитическими планами царского правительства. Если уж и говорить о политических мотивах, которыми мог руководствоваться Николай I при подписании указа о пенсии, то это мог быть общий мотив покровительства единоверным и единоплеменным народам, а также, как предполагал еще И. В. Ягич¹⁹, желание уладить конфликт, возникший с публикацией в России без ведома В. Караджича его книги о Милоше Обреновиче. Мы не располагаем никакими данными и о том, что политические мотивы были решающими при назначении царем пенсии В. Караджичу. Все сохранившиеся документы свидетельствуют, что главную роль при решении этого вопроса сыграла оценка деятельности В. Караджича П. И. Кепшеном и другими русскими учеными и сам факт ходатайства перед царем министра просвещения А. С. Шишкова.

¹ Поповић М. Јота. — Београд, 1981. — 151 с. В дальнейшем при ссылках на эту книгу страницы указываются в тексте статьи в скобках.

² Поповић М. Вук Стеф. Караџић, 1787—1864. — Београд, 1964. Он же: Историја српске књижевности. Романтизам. Том I—III. — Београд, 1968—1972.

³ Ивић П. Српски народ и његов језик. — Београд, 1971, с. 264—265.

⁴ Не исключено, однако, что этот скорописный знак в сербских рукописях В. Караджич рассматривал просто как удлиненное греческое *i* и не считал его поэтому буквой *j*. Этим, по-видимому, можно объяснить отсутствие у В. Караджича упоминаний об употреблении русско-славянского *j* его предшественниками.

⁵ Следует отметить, что этот факт может быть использован для предположений о посредничестве М. Германа, способствовавшем появлению рецензии в журнале «Сын отечества», но не дает никаких оснований М. Поповичу утверждать, что Н. И. Греч был «вероятно подкуплен» (с. 112).

⁶ Подчеркивая классовый характер реформы В. Караджича, напомним, что еще в прошлом веке Н. А. Попов указывал на необходимость изучения реформаторской деятельности В. Караджича с учетом социальной дифференциации сербского общества в то время, отмечал «аристократичность» и сословный характер литературы у сербов. См.: Попов Н. А. К вопросу о реформе Вука Караджича. — ЖМНП, 1882, апрель, с. 162—225.

⁷ Поповић М. Историја српске књижевности. Романтизам, т. I, Београд, 1968, с. 14.

⁸ Ср.: Дмитриев П. А., Сафронов Г. И. Из истории русско-югославянских литературных и научных связей. Л., 1975, с. 30 и сл.

⁹ См., например: Стојановић Љ. Караџић и Бечка полиција. — В кн.: Сборник у славу Ватрослава Јагића. Берлин, 1908, с. 456—463; Радошевић Н. Зашто су Руси помагали Вука. — Наш језик, год. VI, св. I, Београд, 1939, с. 29—38; Лалић Р. Вук и Руси. — В кн.: Анали филолошког факултета, књ. IV. Београд, 1964, г. 229—242; Никитин С. Д. Вук Караджич и Россия. — Новая и новейшая история, 1964, № 3, с. 24—33; Карасев В. Г. Вук Караджич и Россия. — В кн.: Славянское источниковедение. М., 1965, с. 208—228; Дмитриев П. А., Сафронов Г. И. Вук Караджич и Россия. — Сборник Матице српске за књижевност и језик, књ. XIII/2, Нови Сад, 1965, с. 329—342.

¹⁰ Бошков М. Руска штампана књига у нашем XVIII веку. — Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. XVI/2, 1973, с. 567.

¹¹ Младенович А. Норма и книжни јазик у сербов во второй половине XVIII — первых десятилетиях XIX вв. — В кн.: Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. М., 1976, с. 126.

¹² Толстой Н. И. Архаизам и новаторство у језичкој реформи Вука Караџића. — В кн.: Анали филолошког факултета, књ. V. Београд, 1965.

¹³ Цит. по: Карасев В. Г. Вук Караџич и Россия. с. 225.

¹⁴ Там же, с. 221.

¹⁵ Поповић М. Вук Стеф. Караџић. 1787—1864, с. 200.

¹⁶ Внешняя политика России XIX и начала XX века. Серия первая. 1801—1815 гг. М., 1960—1972, т. I—VIII; Серия вторая. 1815—1830 гг. М., 1974—1982, т. I—V (IX—XIII).

¹⁷ Об этом см., например: Достян И. С. Русская общественная мысль и балканские народы: От Радищева до декабристов. — М., «Наука». 1980, с. 326.

¹⁸ «Панславизм, — писал Ф. Энгельс в 1849 г., — возник не в России или Польше, а в Праге и в Аграме... Непосредственной целью панславизма является создание славянского государства под владычеством России от Рудных и Карпатских гор до Черного, Эгейского и Адриатического морей — государства, которое, помимо немецкого, итальянского, мадьярского, валашского, турецкого, греческого и албанского языков, охватывало бы приблизительно еще дюжину славянских языков и основных диалектов». См.: Энгельс Ф. Борьба в Венгрии. — Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., 2-е издание, т. 6, стр. 181.

В связи с этим следует отметить, что в царской России планы, решения славянского вопроса путем объединения славян с Россией в одном государстве (политическая концепция М. П. Погодина, Н. И. Костомарова и др.) начинают высказываться лишь в 30-е и 40-е гг. XIX в., т. е. значительно позже подписания указа о назначении пенсии В. Караџичу.

¹⁹ См.: Ягич И. В. История славянской филологии. Спб., 1910, с. 387.

ВОПРОСЫ РУССКОГО И СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В ТРУДАХ П. А. ЛАВРОВСКОГО

Е. И. Гурьева, С. В. Смирнов

«Сосредоточенный и более замкнутый в себе, очень прямолинейный, менее терпимый, неуступчивый, строгий к себе и другим, несколько ригорист во взглядах и отношениях к людям, но в душе добрый и гуманный, П. А. был вместе с тем, как верно определил один из близко знавших его почитателей, «нрава пылкого, боевого, наступательного», а потому имел всегда и достаточно врагов, особенно из тех лиц, которые не были к нему особенно близки и мало знали его нравственное существо, его чистую, благородную душу и доброе сердце»; — писал о Лавровском К. Я. Грот¹.

Петр Алексеевич Лавровский родился 13 марта 1827 года в селе Выдропуске Новоторжского уезда Тверской губернии в семье священника. Главную роль в его воспитании играла мать — умная, любящая и строгая женщина. Вместе с братом Николаем (1825—1899), будущим известным славистом и деятелем просвещения, Лавровский учился сначала у местного дьячка, а затем в Новоторжском духовном училище. Встал вопрос о дальнейшем образовании. Семья, насчитывавшая 19 детей, не отличалась большим достатком. Поэтому нужно было выбрать такое учебное заведение, которое не потребовало бы больших материальных затрат. Отец, слышавшись много доброго о Главном педагогическом институте в Петербурге, открытом в 1828 году, решил отдать туда младших сыновей, где можно было получить образование за казенный счет.

В январе 1842 г. братья успешно сдали вступительные экзамены и оказались в числе 50 воспитанников «предварительного курса». При переходе в «окончательный курс» Лавровский избрал отделение славянской филологии историко-филологического факультета, где в то время читали лекции И. И. Срезневский и П. А. Плетнев.

Уже в студенческие годы Лавровский проявил большую любовь к филологии и особенно истории языка. Он написал ряд

работ, посвященных сборнику Клоца, русским былинам времен князя Владимира, Краледворской и Зеленогорской рукописям. Но особую известность получило его сочинение «О Реймском евангелии» (1851), удостоенное золотой медали и заслужившее лестную похвалу А. Х. Востокова. В одной анонимной рецензии отмечалось, что наблюдениями автора «с признательностью воспользуются другие изыскатели, как вкладом науки богатым и добросовестным»². В этой работе был дан филологический анализ Реймского евангелия в сравнении с Остромировым евангелием и Ватиканским текстом. Подробно рассмотрены правописание, особенности склонения существительных, прилагательных, числительных, местоимений, спрягаемых форм глагола.

В 1851 г. Лавровский окончил институт и по рекомендации И. И. Срезневского был назначен в Харьков исправляющим должность адъюнкта по кафедре славянской филологии, которая оставалась вакантной с 1847 г. (т. е. после перевода И. И. Срезневского в Петербург). Вскоре туда приехал и его брат Николай. В письме О. М. Бодянскому Лавровский писал: «Два молодых человека, привыкшие любить науку, не зараженные духом стяжаний, ... не будут бесполезны для Харьковского университета»³. В Харькове он начал читать «по запискам, составленным на основании лекций и указаний Срезневского» (А. А. Потебня), обширный курс славяноведения, в который входили славянские древности, общее филологическое и этнографическое обозрение славян, история литературы славянских наречий, грамматика старославянского языка. Учениками Лавровского были А. А. Потебня, М. А. Колосов, Н. Ф. Сумцов. Потом он оставил Потебню при университете и поддерживал его как «подающего самые радостные надежды в будущем».

Однако, по воспоминаниям А. А. Кочубинского, «Харьков был ему не по сердцу: он постоянно рвался из него, как мотылек к свету. Горячий поклонник одной науки, одна энергия, Лавровский встретил сонное отношение товарищей к своим задачам, с другой — враждебность от начальства, любившего от всего сердца провинциальную тину, подобострастие и беспрекословие — а тут явился какой-то непослушливый адъюнкт, еще не с седой бородой. К довершению своей душевной пригнетенности Лавровский в библиотеке университета для себя, своей науки нашел, так сказать, одну пустую кассу. Налицо было всего-навсего три славянских словаря да несколько польских книжонок»⁴.

Действительно, усиление политической реакции с конца 40-х гг. привело к тому, что Харьковский университет оказался в упадке. Попечителями учебного округа были генерал-губернаторы, в том числе известный мракобес Кокошкин. Деятельность профессоров была строго регламентирована. В условиях произвола и полицейской дисциплины началось брожение среди студентов. В 1858 г., когда за ничтожную провинность двое студен-

тов были исключены, 138 человек сразу же подали прошение об увольнении из университета. Попечитель докладывал министру народного просвещения, что «некоторые из профессоров вели себя так, что поддерживали студенческие беспорядки... Это были двое братьев Лавровских, Коссов, Соколов и некоторые другие»⁵. Сам Лавровский жаловался в письме О. М. Бодянскому: «Видеть зло, чувствовать его на себе и не иметь никакой возможности стереть его — это величайшее огорчение для самого хладнокровного человека, моя же горячая натура изорвалась до такой степени, что редкий месяц обходится у меня без болезни»⁶. Подъем Харьковского университета начался в конце 50-х гг. И на историко-филологическом факультете в этом немалая заслуга принадлежала братьям Лавровским.

В 1852 г. Лавровский защитил магистерскую диссертацию «О языке северных русских летописей». «Известия ОРЯС» отмечали, что этот труд «упрочивает за молодым ученым видное место в ряду делателей на поприще русской науки по той старательности, с которою вникнул в нем автор в подробности языка северных летописей, важные для истории русского языка»⁷.

Интерес к истории языка в России начал пробуждаться в первые десятилетия XIX в. Этому прежде всего способствовали обращение к старине, открытие и изучение памятников русской и старославянской письменности, рассуждения о старом и новом слоге. Споры шишковистов и карамзинистов о путях развития литературного языка породили массу рассуждений о русском и церковнославянском языках, их взаимоотношении и происхождении русских письменных памятников к болгарским и сербским. Но славянское сравнительно-историческое языкознание тогда еще не было богато капитальными исследованиями, хотя уже в трудах А. Х. Востокова старославянский язык был отделен от общеславянского и русского, определены его древнейшие особенности и отношение к другим славянским языкам, выделены основные периоды в его истории. Но открытия А. Х. Востокова, поднявшие на небывалую высоту значение старославянского языка и показавшие возможности и преимущества нового метода исследования, не сразу нашли себе продолжателей. Главное внимание пока сосредоточивалось на собирании материала, изданиях и описании рукописных памятников. Г. П. Павский одним из первых широко применил сравнительный метод к изучению русского языка с позиций индоевропейского сравнительного языкознания. Такой подход в то время стал признаваться единственно научным и должен был заменить традиционную описательную грамматику. Однако сравнение зачастую строилось на случайном звуковом сходстве, без учета фонетических законов, без широкого привлечения материала из древних памятников и диалектов.

Решительный поворот в сторону исторического изучения рус-

ского языка начинается с появления книги И. И. Срезневского «Мысли об истории русского языка» (1849). В ней на основе памятников X—XIV вв. охарактеризованы фонетические и грамматические особенности древнерусского языка, выделены основные периоды в истории народного и книжного языка, показаны многие изменения, происшедшие в русском народном языке, впервые в России представлен краткий очерк сравнительно-исторической фонетики и грамматики славянских языков, намечена программа предстоящих исторических исследований.

Книга Лавровского «О языке северных русских летописей» была написана под непосредственным влиянием трудов Срезневского. Лавровский также считает, что русский язык до XIII—XIV вв. был нераздельный и в нем вовсе не было заметно распада на два отдельных наречия. Серьезные расхождения между русским и украинским языками начинают намечаться только в XIII—XIV вв. Лавровский доказывает это отсутствием фонетических признаков украинского языка в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях, написанных на одном языке, общем для севера и юга. Однако наличие в языке северных русских летописей некоторых новгородских черт заставило Лавровского признать, что в русском языке уже с древних пор (до XII века) существовали некоторые диалектные особенности.

На материале северных русских летописей и деловых документов Лавровский рассматривает отличительные черты языка «древнего» (до XV в.) и «старинного» (XV—XVIII вв.). В связи с этим привлекаются и данные севернорусских говоров, особенно новгородских, в которых автор находит архаические черты, исчезнувшие в литературном языке. Он подробно анализирует звуковой состав древнерусского языка (особенно такие явления, как полногласие, редуцированные, носовые, палатализация заднеязычных, сочетания *гы, кы, хы* и др.). Много интересных наблюдений встречается при характеристике именного склонения, где Лавровский отмечает утрату двойственного числа, появление новых окончаний *-ам, -ами, -ах* во множественном числе, *-у /-ю/* в родительном падеже единственного числа существительных мужского рода с основой на *-о*, в дательном падеже *-ови /-еви/* и др. Рассматривая краткие и полные формы прилагательных, он выступает против мнения Павского, что полные формы были заимствованы из греческого языка. При анализе глагольных форм указывается на исчезновение аориста и имперфекта. В книге отмечены также синтаксические особенности древнерусского языка (например, употребление косвенных падежей без предлога во временном и местном значении, дательного самостоятельного, супина, стремление к безличным конструкциям, согласование сказуемого с подлежащим, выраженным собирательным существительным, обороты типа «правды узяти», значение и употребление предлогов и союзов и др.). Анализируя

различные явления древнерусского языка, Лавровский всюду стремится проследить их историю, показать время возникновения и исчезновения. С этой точки зрения труд ученого является первым опытом действительно исторического рассмотрения русского языка.

В 1853 году вышла работа Лавровского «Замечание об особенностях словообразования и значения слов в древнем русском языке». В ней автор подчеркивает, что словообразование должно занимать одно из видных мест в науке о языке. Оно яснее отражает значение корня в древних словах, чем в их позднейших изменениях. Так, слово «перчатка» представлено в древних памятниках в форме «перстаница», которая прямо указывает на корень «перст». Изучение словообразования показывает огромное лексическое богатство древнерусского языка, выражающееся в обилии синонимических слов (ср. названия лодок: галера, лодь, буса, насад, шкуна, шнека и др.). Некоторые слова утратили свое первоначальное значение. Слово «верста» раньше обозначало возраст. Сейчас это значение сохранилось лишь в слове «сверстник». Таким образом, словообразование выявляет общность слов и тем самым родство языков и народов.

В 1854 г. Лавровский защитил докторскую диссертацию «Исследование о Летописи якимовской» (опубликована в 1856 г.), в которой представил исторический разбор этого памятника, объяснил обстоятельства его находки, рассеял сомнения относительно его подлинности. По мнению ученого, первая половина летописи (до прибытия Рюрика) составлена по польским, отчасти чешским образцам, вторая половина списана с какой-либо древней рукописи, относящейся к периоду крещения Руси. В 1855 г. Лавровский получил звание экстраординарного профессора, а в 1857 г. — ординарного. В 1856 г. был избран членом-корреспондентом Академии наук.

В 1856 г. Лавровский был командирован в Петербург для ознакомления с памятниками старославянской письменности. В результате этого появилось «Описание семи рукописей имп. С.-Петербургской публичной библиотеки» (1858). На основе анализа памятников XI—XV вв. (Минея праздничная XI—XII вв., Стихирарь XII в., Псалтырь XII в., Изборник XIII в., Пролог XIII в. и др.) он дает характеристику основных черт фонетики, морфологии и лексики древнерусского языка. Его выводы сводятся к следующему: а) носовых звуков в XI—XII вв. в русском языке уже не существовало; б) редуцированные еще в XI—XII вв. имели звуковое значение; в) смешение *ц* и *ч* является древнейшей чертой новгородского говора.

В 1858 году Лавровский опубликовал «Замечания об этимологических особенностях языка польского». Критически рассмотрев труды польских ученых (Вишневого, Мацеевского, Цегельского), он считает, что только в работах Цегельского заметно

стремление рассматривать польский язык сравнительно с родственными языками и диалектами. Однако народные говоры, сохраняющие немало особенностей старины, не затрагиваются и в его исследованиях.

При анализе грамматических форм Лавровский пришел к выводу, что существительные с основой на **-ja** в родительном падеже единственного числа, как и в старославянском языке, имели **ĕ**. С утратой носового появляется окончание **-e /ie/**, параллельно с которым употреблялось и **-ej**. Позднее по аналогии с основой на **-a** здесь появилось окончание **-i**, которое вытеснило исконное носовое окончание и возникшие из него **-e**, **-ej**. Эта точка зрения не получила полного признания. В частности, А. М. Селищев⁸ полагает, что окончание **-e** в родительном падеже возникло из первоначального **-ĕ (ѣ)**.

В дательном падеже множественного числа произошло взаимодействие мужского и женского рода, и в обоих случаях стало употребляться окончание мужского рода **-om**, хотя в XIV—XV вв. в женском роде встречается еще **-am**. Двойственное число, как показывает автор, сохранялось в польском языке довольно долго: только к концу XVII в. оно выходит из употребления.

Анализируя глагольные формы, Лавровский показывает их родство с формами других славянских языков, а также отмечает и новые формы, свойственные только польскому языку.

А. А. Кочубинский, оценивая работу Лавровского, писал, что «статья молодого харьковского слависта была предтечей в исторической разработке польского языка», так как «исторический метод тогда еще почти не касался области польского языка»⁹.

В конце 50-х годов Лавровский обращается к изучению украинского языка и пишет статью «Обзор замечательных особенностей наречия малорусского сравнительно с великорусским и древними славянскими наречиями» (1859). В ней рассматриваются некоторые особенности украинского языка в области фонетики и словообразования.

Особенно Лавровского интересовало происхождение русского полногласия, которое он рассматривает в статьях «Замечание о полногласии» (1859—1860) и «О русском полногласии» (1861).

Проблема полногласия в русском языке привлекала внимание многих ученых. И. Добровский объяснял его возникновение влиянием финского языка, А. Х. Востоков — влиянием климата. М. А. Максимович считал полногласие исконным свойством не только славянских, но и индоевропейских языков, и только со стремлением языка к устранению гласных звуков позднее развиваются неполногласные формы. М. Н. Катков видел в полногласии следы долготы и краткости и указывал на исконность сосуществования полногласных и неполногласных форм в русском языке. И. И. Срезневский полагал, что полногласие представ-

ляет собой более позднее явление в русском языке, а неполногласие — древнейшую, общеславянскую форму.

Наиболее глубоко к решению этого вопроса подошел Лавровский. На большом фактическом материале он показал, что русским словам с **оро-оло** соответствуют в родственном языке слова с одной предшествующей гласной (голова — лит. *galva*, борода — лат. *barba*, коробить — лат. *korbis*); русским же **ра-ла, рѣ-лѣ** соответствует плавный с последующей главной (брат — санскр. *bhratar*, лат. *frater*; слава — чешск. *sláva*, польск. *slawa*). Русское полногласие Лавровский связывает с «гласностью», т. е. слогаобразующим характером звуков **р** и **л**. По его мнению, первый гласный звук в полногласии есть остаток древнейшего поднятия **р-л** в **ар-ал**, видоизмененных в славянских языках в **ор-ол, ер-ел**. В южнославянских языках, а также чешском и словацком эта «гласность» **р-л** в дальнейшем потеряла способность поднятия и вследствие этого произошло усиление гласного звука. Так возникли в этих языках неполногласные формы (в период отдельной жизни славянского племени). Несколько позднее в русском языке возник второй гласный звук. Это явление Лавровский объясняет, во-первых, «влиянием сокращенности формы в остальных наречиях, не успевшей еще подавить сознания славян русских о необходимости древнего поднятия, которому обязан гласный звук перед **р, л**»¹⁰, во-вторых, «большой прочностью памяти славянских русских о поднятии **р, л**»¹¹. Там, где в русском языке возникли полногласные формы, в польском и лужицком им соответствуют сочетания с **ро, ло, ре, ле**.

Заслуга Лавровского здесь состоит в том, что он первый правильно установил происхождение полногласных форм из сочетаний гласных **о, е** с плавными в положении между согласными. Однако он не сумел связать возникновение этих форм с законом открытых слогов, что было сделано И. В. Ягичем в начале XX века. Поэтому в настоящее время теория Лавровского принята с некоторыми поправками.

Весной 1859 года Лавровский отправился в научную командировку за границу. Он объехал почти все западные и южные славянские земли, побывал в главных культурных центрах, познакомился со многими выдающимися деятелями славянской науки и литературы, приобрел богатый запас знаний. По воспоминаниям А. А. Кочубинского, «полтора года за границей были отраднейшим для него временем. С особенным удовольствием и пользой он провел время в Сербии и Праге. Он столь внимательно изучил сербский язык, что теперь уже говорил, как на родном... Обворожительно было пребывание и в высокообразованной Праге, где были еще в живых и великий учитель славянства Павел Шафарик..., и ревностный Ганка, окруженный испытанным ореолом симпатий к России, сердечный друг Срезневского, открывав-

шего пред ним все тайны свои»¹². Во время путешествия Лавровский писал корреспонденции в Петербург, в которых рассказывал о литературной и культурной жизни славянских народов.

Пребывание за границей помогло Лавровскому значительно расширить круг преподаваемых предметов. После возвращения он начал читать историю и литературу чешского народа, историю польской литературы, историю и литературу сербов. Немало также занимался разысканиями в области славянских языков, мифологии, этнографии, литературы, истории славян. В 1863 г. Лавровский опубликовал обширный труд «Кирилл и Мефодий как православные проповедники у западных славян», удостоенный Уваровской премии. В книге рассматривается деятельность братьев со времени прибытия к западным славянам до их кончины. Внимательно проанализировав источники, Лавровский пришел к заключению, что в них нет прямого ответа на вопрос, к какой церкви принадлежали Кирилл и Мефодий, ибо всюду они называются правоверными. Одни исследователи считают это правоверием Запада, другие — правоверием Востока. Лавровский, рассматривая на широком историческом фоне отношение славянских первоучителей к римской и греческой церкви, а также отношение этих церквей к братьям, приходит к выводу, что вся деятельность Кирилла и Мефодия на славянском западе свидетельствует о их верности восточной церкви, ее догматам и обрядам. Их связи с Римом были вынужденными. Отношение римских пап к Кириллу и Мефодию отличается непоследовательностью: они считаются то правоверными, то подозрительными, их учение и богослужение то разрешается, то запрещается. Ученики же Кирилла и Мефодия были изгнаны в Болгарию как еретики, а потом папа объявил еретиками и самих братьев. В то же время православные земли восприняли их как святых и как славянских первоучителей. В целом книга Лавровского, отличающаяся богатством материала и тщательностью анализа, заняла определенное место среди работ, посвященных кирилло-мефодиевской проблематике.

Заслуживает внимания обширная рецензия Лавровского на второе издание первой части «Исторической грамматики русского языка» Ф. И. Буслаева. Рецензент высоко оценил значение этой грамматики, составившей, по его мнению, эпоху в изучении отечественного языка. «Прежней системы голых рубрик, со множеством правил и исключений, обременявших бесплодно память ученика, и без грамматики умевшего с детства склонять и спрягать, уже нет больше, весь интерес сосредоточен на объяснении последовательного развития языка отечественного и на определенных и доступных возрасту законах его нынешнего употребления»¹³.

Тем не менее, подробно проанализировав все разделы «Исторической грамматики», Лавровский отметил многие неточности,

допущенные Буслаевым при объяснении фонетических и грамматических явлений. Если Буслаев считал, что форма «идти» образовалась от древней формы «йти» путем удвоения звука **т**, перешедшего затем в **д**, то Лавровский верно объясняет появление **д** как результат влияния форм настоящего времени. Буслаев считал, что в формах «друзе» и «друзи» произошел переход **г** в **ж** и **з** потому, что **ъ** изменился в **е** и **и**. Лавровский правильно указывает, что «**ъ** такой же самостоятельный признак именит. падежа, как самостоятельны **е** для зват. падежа и **и** для именит. множественного. Не потому **г** изменилось в **ж** и **з**, что **ъ** перешел в другие гласные, а потому, что он встретился с такими признаками звательн. ед. и именит. множественного, которые непременно требуют превращения его в свистящий или шипящий звук»¹⁴. Если Буслаев выводил звук **ч** в диалектных формах типа «жегчи, пекчи» из смягченного **т**, то Лавровский справедливо видел здесь влияние форм настоящего времени. Он правильно не соглашается с мнением Буслаева, что страдательные причастия прошедшего времени типа «рожден, смешен» образуются от корня глагола, а не от основы инфинитива. Буслаев считал, что слова типа «путь» сблизили свое склонение со склонением слов женского рода на **ь** (типа «кость»). Лавровский говорит, что никакого сближения здесь не происходило, так как склонение обоих родов искони было одинаково. Буслаев учел значительную часть такого рода замечаний при подготовке третьего издания «Исторической грамматики» и внес соответствующие исправления (см. §§ 31, 37, 38, 49, 62).

В 1867 году выходит большое исследование Лавровского «Коренное значение в названиях родства у славян». К этому времени ряд терминов родства уже был рассмотрен с позиций индоевропейского сравнительно-исторического языкознания. И Лавровский опирается на труды Боппа, Гримма, Шлейхера, Потта, Пикте, Шафарика, Миклошича, Буслаева, Гильфердинга, Шимкевича, Павского и других ученых. Но у славян уже в доисторическую эпоху возникли свои термины, в которых отразились особенности их родового и семейного быта. Лавровский для полноты картины рассматривает те и другие. Его книга состоит из двух частей. Первая из них посвящена терминам кровного родства по нисходящей и восходящей линии (муж, жена, отец, мать, дети, чадо, сын, дочь, брат, сестра, внук, дед, баба, пращур, дядя, тетя, стрый, уй, нетий и др.), вторая — терминам свойственного родства (зять, сноха, свекор, свекровь, тещь, теща, деверь, золовка, шурина, сват, ятровь, свояк и др.). Лавровский приводит данные славянских и других индоевропейских языков и на этой основе стремится определить первичный корень и его значение, а затем форму брака. Проследившая историю слов, он приходит к выводу, что с разрушением патриархально-родовой замкнутости происходит ослабление уз родства и забвение соответствующих

названий. Притом южные славяне лучше всего сохранили термины родства, западные утратили в значительной мере названия свойства, русские — названия родства.

С современной точки зрения книга Лавровского, разумеется, во многом устарела и сохраняет лишь историческое значение. Это объясняется прежде всего тем, что славянская этимология тогда находилась еще в стадии становления, отсутствовали этимологические и исторические словари, не были известны многие диалектные данные. В то же время труд Лавровского был вплоть до появления книги О. Н. Трубачева «История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя» (1959) основным источником, откуда исследователи, в том числе и Б. Дельбрюк, черпали славянский языковой материал. Одна часть этимологий Лавровского, хотя и отражала уровень науки того времени, была отвергнута позднейшими учеными. Другая часть сохраняет в полной мере или частично свое значение до сегодняшнего дня.

В 1869 г. Лавровский был назначен ректором Варшавского университета. Благодаря ему в Варшаву были приглашены такие видные слависты, как В. В. Макушев, И. И. Первольф, Ф. И. Иезбера. Сам Лавровский читал в университете сравнительную грамматику славянских языков, но писал мало. Правда, уже во время заграничного путешествия у него возникла мысль создать переводные словари всех основных славянских языков. В 1870 г. выходит «Сербско-русский словарь», в 1880 г. — «Русско-сербский словарь».

«Сербско-русский словарь» преследует чисто практические цели — служить пособием для чтения сербских книг. Этим был обусловлен отбор слов, «употребляющихся как в народной словесности, так в ученых и литературных произведениях»¹⁵. В основу был положен «Сербско-немецко-латинский словарь» (изд. 2, 1852) В. Караджича с дополнениями по словарям Дробнича («Иллирско-немецко-итальянский малый словарь», 1846—1849) и Парчича («Иллирско-итальянский словарь», 1858), откуда взята хорватская лексика. К этому Лавровский добавляет турецкие заимствования, не вошедшие в словарь Караджича. Всего, по нашим подсчетам, в словарь вошло около 110 тысяч слов (фразеология полностью отсутствует).

В словарной статье Лавровский приводит сербское слово и затем его русский эквивалент. Различные значения слов никак не дифференцируются и в лучшем случае отражаются через подбор синонимов. Если в русском языке нет соответствующего эквивалента, то значение слова передается описательно (ср. крупатка — сорт рыбы; понор — место, где река скрывается под землю). Сфера употребления слов и их стилистическая характеристика, за исключением пометы «нар.» (народное), полностью отсутствуют. У существительных отмечен род, у прилагатель-

ных — родовые окончания, у глаголов — первое (безличных — третье) лицо. Все слова располагаются в строго алфавитном порядке. Принята орфография В. Караджича как наиболее удобная и употребительная. Несмотря на все несовершенство, это был первый в России опыт создания сербско-русского словаря.

В «Русско-сербский словарь» вошло около 75 тысяч слов. По сути дела это перевернутый «Сербско-русский словарь». Поэтому здесь те же принципы отбора и построения словника, такая же грамматическая характеристика (только русских слов).

В декабре 1872 г. Лавровский вышел в отставку и поселился в Петербурге, надеясь продолжить научные исследования. В 1873 г. появилась его работа «Значение настоящего времени (praesentis) в классификации славянских глаголов и образование его сравнительно с родственными языками». В этой статье Лавровский рассматривает различные способы образования форм настоящего времени и приходит к выводу, что не тема неопределенного наклонения должна служить исходной точкой классификации славянских глаголов, как это считал Миклошич, а именно формы настоящего времени.

В 1875 г. Лавровский получил назначение попечителем во вновь созданный Оренбургский учебный округ, где за пять лет удалось открыть ряд новых школ и построить многие новые учебные здания. В 1880—1885 гг. он был попечителем Одесского учебного округа. Но состояние здоровья все время ухудшалось. В 1885 г. он снова вышел в отставку и переехал в Петербург, где стал членом совета министра народного просвещения. Много времени он посвящал исследованию вопроса о жизни и деятельности славянских первоучителей Кирилла и Мефодия. Буквально за две недели до кончины Лавровский закончил переписывать статью «Итальянская легенда. Критический обзор исследований и мнений о ней; значение ее для истории жизни и деятельности славянских первоучителей».

С появлением книги И. Добровского «Кирилл и Мефодий, славянские первоучители» (1823) до статьи А. В. Горского «Жития св. Кирилла и Мефодия» (1843) основным источником для решения кирилло-мефодиевской проблемы была итальянская легенда епископа Гавдерика, впервые напечатанная в 1668 г. в Антверпене Геншеном. Горский опубликовал паннонскую легенду о Константине — Философе, написанную одним из его учеников. Тем самым итальянская легенда была отодвинута на задний план как второстепенный источник. С накоплением материалов по истории славянской письменности возникла потребность установить отношение друг к другу этих легенд. О. М. Бодянский в книге «О времени происхождения славянских письмен» (1855) провел такое сопоставление и пришел к выводу, что итальянская легенда сходна по содержанию с житием св. Кирилла. Это говорит о заимствовании одного источника из другого, но остается

неясным, кто у кого заимствовал. На этот вопрос попытался ответить А. Е. Викторов в работе «Кирилл и Мефодий. Новые источники и ученые труды для истории славянских апостолов» (1865). Он указал славянские источники, на которые опиралась итальянская легенда, но ничего не сказал о времени, когда могло произойти это заимствование. А. А. Воронов в работе «Главнейшие источники для истории свв. Кирилла и Мефодия» (1877) присоединился к выводам Викторова, но выступил решительным противником отнесения итальянской легенды к памятникам IX столетия и признания епископа Гавдерика ее составителем, так как современнику Кирилла и Мефодия, участвовавшему в делах славянской церкви, не было необходимости обращаться к славянским письменным источникам. Поэтому Воронов относит легенду к XIII—XIV вв.

Лавровский в своей статье сравнивает латинский и славянский тексты и приходит к выводу, что во многих случаях они не только сходны, но и тождественны. В итальянской легенде заметны лишь пропуски некоторых подробностей из жизни Кирилла, иногда сокращения, в некоторых случаях добавления (например, посвящение братьев в Риме в епископы, принятие Константином имени Кирилл по соизволению папы и некоторые другие). Отсюда Лавровский делает вывод, что название легенды итальянской не оправдывается ни местом ее происхождения, ни источниками, из которых заимствовано ее содержание. Сама легенда состоит из двух частей: большая повествует о Кирилле, меньшая — об открытии мощей св. Климента и доставлении их в Рим. Первая часть основана на паннонском житии Кирилла, вторая заимствована из восточнославянских и греческих сказаний о мучениях и чудесах св. Климента. Епископ Гавдерик, описывавший во II половине IX в. историю св. Климента, пользовался лишь греческими источниками. Эта история и послужила основой для составителя итальянской легенды с целью представить жизнь Кирилла так, чтобы поднять его в глазах римской церкви, используя для этого паннонское житие. Составителем легенды был западный славянин католического вероисповедания, знакомый с восточными преданиями о славянских апостолах. Составление легенды относится к XIII—XIV вв.

28 февраля 1886 г. Лавровский неожиданно скончался. Он оставил заметный след в отечественной науке как историк славянских языков и культуры, лексикограф и деятель просвещения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грот К. Я. Братья П. А. и Н. А. Лавровские как деятели науки и просвещения. — Известия ОРЯС, 1929, т. 2, кн. 2, с. 425.
2. Северная пчела, 1852, № 65, с. 257.
3. Материалы для истории императорского Общества истории и древностей российских. — ЧОИДР, 1887, кн. 1, с. 223.

4. Кочубинский А. А. Памяти Петра Алексеевича Лавровского. — Записки имп. Одесского общества истории и древностей, 1889, т. 15, с. 849.
5. Грот К. Я. Братья П. А. и Н. А. Лавровские как деятели науки и просвещения, с. 417.
6. Материалы для истории императорского Общества истории и древностей российских, с. 233.
7. Известия ОРЯС, 1853, т. 2, вып. 1, с. 18.
8. Селищев А. М. Славянское языкознание, т. I, М., 1941, с. 352.
9. Кочубинский А. А. Памяти Петра Алексеевича Лавровского, с. 850.
10. Лавровский П. О русском полногласии. — Материалы для сравнительного и объяснительного словаря, Спб., 1861, т. V, с. 234.
11. Там же, с. 239—240. А. А. Потебня в статье «О полногласии» (Филологические записки, 1864, вып. V), посвященной критическому разбору статьи Лавровского «О русском полногласии», возражал против основных положений этой работы. Он вслед за Срезневским считал, что неполногласные формы являются первоначальными.
12. Кочубинский А. А. Памяти Петра Алексеевича Лавровского, с. 851.
13. Лавровский П. А. Записка о втором издании первой части «Исторической грамматики» Ф. И. Буслаева, Спб., 1865, с. 1—2.
14. Там же, с. 28.
15. Лавровский П. Сербско-русский словарь, Спб., 1870, с. 11.

КОНЦЕПЦИЯ А. А. ПОТЕБНИ И РУССКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Ю. И. Минералов

1.

Александр Афанасьевич Потебня — великий славянский филолог, но еще до сравнительно недавнего времени он принадлежал к разряду авторов, упоминания о работах которых повелось маркировать эпитетами вроде «сомнительно», «спорно», или, в лучшем случае, «интересно, но дискуссионно».

Сегодня пора напомнить, что в попытках взглянуть на наследие А. А. Потебни «свысока» тон был задан первыми экстремальными течениями в филологии XX века — например, формальной школой. Поза, которую принимали формалисты, «судя» о Потебне, диктовалась прежде всего художественным характером их методологии (см. подробно 9). К этому, впрочем, прибавлялись очевидные претензии на известного рода историко-культурное «соперничество» — не случайно аналогично отношение экстремальных течений к А. Н. Веселовскому, крупнейшему филологическому современнику А. А. Потебни; так, еще совсем недавно в «манифесте» очередного экстремального течения было сочтено уместным упрекнуть Веселовского в наивности (7, 282, 379).

Автор настоящей статьи не разделяет надежд на «наивность» филологов масштаба А. Н. Веселовского и А. А. Потебни. Напротив, радостно констатировать, что статус филологической концепции, которая создавалась Потебней на протяжении его исследовательской биографии, начинает интенсивно меняться в самые последние годы. Это связано с объективной актуализацией тех проблем, в глубине анализа, в глубине осмысления которых и сегодня с А. А. Потебней никого нельзя сравнить. Потебня не просто «не утратил» значения — мы часто не располагаем пока разработками, прошедшими сколько-нибудь заметно далее сделанного им.

Упомянутая актуализация заставляет сегодня снова вду-

маться в семантику положений великого филолога. Очевидно, был элемент досадной исторической случайности в том, что лишь далекие «филологические потомки» А. А. Потебни ясно осознали целостность, системную завершенность высказанного им круга идей, то есть концептуальный характер его соображений. Очевидно, сыграл свою роль в их судьбе искажающий пересказ мыслей Потебни его посмертными полемистами — пересказ, за который, по выражению В. В. Виноградова, «сам Потебня не отвечает» (4, 10). Очевидно, нельзя не учитывать и невнимание Потебни к атрибутам так называемого «прижизненного успеха» — например, его харьковское уединение, пренебрежение к шумихе и саморекламе художественного толка, уклонение от контактов с потенциальными «поклонниками» — дилетантами и т. п. Так, подвергаясь весьма реальным, а не воображаемым преследованиям со стороны официоза (см. 18), А. А. Потебня явно брезговал создавать вокруг этого обстоятельства тот сочувственный общественный ажиотаж, который в обстановке России конца XIX века, несомненно, стяжал бы ему репутацию научного подвижника и, возможно, сделал бы Харьковский университет местом благородного паломничества заеденных средою людей. Наконец, очевидно, в том, что А. А. Потебня столь долго оставался, по словам Н. И. Толстого, «непонятым другими», играл роль и следующий фактор: «Сам того, быть может, не сознавая, А. А. Потебня больше обращался к будущим читателям, чем к современникам» (15, 71), — сюда же следует отнести отсутствие у Потебни внутренней потребности артистически «подавать» идеи и материал, столь свойственной, напротив, деятелям экстремальных течений (см. подробнее 9). Но, думается, судьба концепции А. А. Потебни оказалась обусловлена и «внутренними» особенностями последней.

Хорошо известно, что А. А. Потебня не перестал до конца жизни разделять многие идеи Вильгельма Гумбольдта и утверждал, что «Говорить значит не передавать свою мысль другому, а только возбуждать в другом его собственные мысли» (разрядка наша. — Ю. М.) (11, 541).

Безоговорочно солидаризироваться с Потебней в том, что передача мысли другому лицу «невозможна» (11, 541), сегодня вряд ли стоит. Но как бы мы ни оценивали подобные идеи, мы не должны забывать того, что потебнянские представления о «мысли и языке» в первую очередь влияли на особенности мышления самого Потебни. Не очень надеясь на «понимание» в обычном смысле этого слова, он, естественно, должен был строить семантику своих высказываний весьма специфическим образом (стремясь не столько «передать» мысли, сколько «возбуждать» в других людях их собственные идеи). Иначе говоря, сам исследователь до известной степени «повинен» в том, что у читателя нередко возникает ощущение мнимой «незавершенности» работ

Потебни, впечатление «раздерганности» его положений, носящих якобы характер «догадок», случайных «озарений». Труды А. А. Потебни рассчитаны автором на читательское сотворчество, без которого его концепция почти неминуемо будет воспринята прямолинейно и упрощенно. Перед нами реальный семантический барьер. Но как бы мы ни оценивали философию языка, побудившую А. А. Потебню воздвигнуть этот барьер, не преодолев его, мы не имеем особого права «судить» о концепции Потебни, а тем более подвергать ее критике.

В настоящей статье предпринята попытка специально проанализировать некоторые потебнянские суждения — суждения, составляющие основу его концепции, десятки лет функционирующие в филологии, давно смешавшиеся с чужими интерпретациями и тенденциозными пересказами и, естественным образом, в итоге давно уже создающие у читателя ощущение их безусловной «понятности». Такое ощущение может оказаться отчасти иллюзорным. Мы намерены избежать модернизации (например, переформулировок тезисов Потебни на распространенный сегодня метаязыковой жаргон), оставаясь в пределах наиболее традиционных филологических понятий. Не претендуя на какие-либо сенсационные выводы, попытаемся сделать некоторые теоретические уточнения, основанные на конкретных наблюдениях русского поэтического стиля.

2.

Парадокс об однородности «слова» (намеренно ставим кавычки! — Ю. М.) и произведения, несомненно, принадлежит к числу тех идей Потебни, которые до сих пор провоцируют эмоционально напряженную полемику. Прямолинейную постановку знака равенства или знака эквивалентности между словом и словесным произведением невозможно взять под защиту. Иной вопрос, в какой мере этот знак вытекает из сути потебнянской концепции, в какой же мере он сконструирован самими нами, позднейшими читателями Потебни. На этот счет в результате анализа работ ученого возникают некоторые небезынтересные сомнения.

Обсуждение парадокса об однородности «слова» и произведения имеет одну показательную черту. Потебню понимают лишь в буквальном смысле (слово, то есть лексема языка). А истолковав так его концептуальную идею, читатель оказывается перед откровенно условным и поверхностным уподоблением двух явно разномасштабных и разнофункциональных явлений. Критикам остается лишь «указать» на эту условность и поверхностность, а затем пофантазировать о причинах потебнянской «наивности» (5, 391). Между тем, вряд ли великий славянский филолог столь уж «прост».

Не подлежит сомнению, что А. А. Потебню отличало весьма своеобразное отношение к проблеме терминологии. Сегодняшний читатель часто столкнется в его работах с внешне «понятными», знакомыми словами, употребленными однако в неожиданном, «потебнянском» осмыслении. Совсем недавно О. П. Пресняков пронципательно заметил, что Потебня использует «далеко не однозначно с современными представлениями» «понятия содержания и формы» (16, 36), а также термины «поэзия» и «проза» — первый имеет в виду и прозу и поэзию, вторым же А. А. Потебня обозначал «как правило науку, сферу научно-практического мышления» (16, 45). Любопытные факты; но для нашей статьи особенно важно оперирование Потебни в неожиданном смысле словами, обозначающими обычно конкретные лингвистические понятия. Так, А. А. Потебня совершенно по-своему употребляет слово «звук». Лишь иногда он берет его в общефилологическом осмыслении (звук, то есть фонетическая единица). В других случаях он понимает под «звуком» звучание слова, его «внешнюю форму» (11, 175) — трактовка, к которой сознание большинства читателей, конечно, не подготовлено. Но этого мало — бывают и более сложные случаи. А. А. Потебня может выразиться «звук», подразумевая не один только образующий слово звуковой комплекс, но лексему вообще — в единстве ее звучания и семантики! Только учитывая такое поразительное своеобразие, можно правильно понять Потебню, когда он время от времени вдруг утверждает, что звук «проникнут мыслью» (11, 179). Речь тут, как можно убедиться из контекста, идет не о звуке, фонетической единице, а о слове. Аналогично обстоит в примере, замеченном Н. И. Толстым: «Новые понятия, входя в мысль и язык народа, обозначались звуками, уже прежде имевшими смысл», — Н. И. Толстой справедливо указывает, что Потебней подразумевается лексема (15, 73). А. А. Потебня никогда не разделял абсурдных теорий о наличии у отдельно взятых звуков собственной семантики, но с утверждениями, подобными вышецитированным, удобно спекулировать сторонникам таких теорий; нередко данные утверждения вызвали и протестующие заявления со стороны понявших «звук» в обычном лингвистическом смысле читателей. На деле примеры со «звуком» напоминают: помимо непривычного употребления слов, А. А. Потебне свойственна еще и «авторская полисемия».

Приведенные случаи отражают, разумеется, не простой субъективизм авторского словоупотребления и, тем более, не терминологическое «неряшество» Потебни. За ними стоит вполне определенная научная позиция — его философия языка, его понимание сути языковой коммуникации. Чем определялось максимально рассвобожденное употребление А. А. Потебней некоторых принятых в филологии слов? В его важнейшем лингвистическом труде об этом сказано четко: «Говорящий и

равный ему по образованию слушатель удовлетворяются одним намеком <...>, выраженным в слове или в ряду слов...» (14, 48).

За терминологической раскрепощенностью стоит, кроме того, «гумбольдтианское» мнение Потебни об относительности всякого стороннего понимания. Уже во времена А. А. Потебни среди филологов позитивистской ориентации были распространены надежды повысить точность гуманитарного знания путем унифицирования терминологии (в подражание наукам негуманитарного цикла). Но «по складу ума, по направлению научного поиска Потебня расходилась с позитивизмом с самого начала» (16, 37). Его опора на «намеки» означала принципиально иной путь повышения филологической точности.

Своеобразие подхода А. А. Потебни к форме выражения своих идей заставляет с большой осторожностью отнестись к потебнянскому «слову». Всегда ли тут имеется в виду лексема языка? Отношение исследователя к другим терминам (типа «звук») убеждает, что вопрос это не праздный. Если «слово» — не обозначение непременно лексемы, если перед нами «намеки», допускающий (подобно «звуку») расширенное осмысление, тогда обсуждаемая идея об однородности «слова» и произведения заведомо перестает быть парадоксом.

Посмотрим с другой стороны: что конкретно понимается под произведением.

А. А. Потебня говорил, что «в слове мы находим те же самые элементы, которые встречаются в более сложных произведениях словесности» (11, 529). Итак, «слово» (в анализируемой цитате, вероятно, лексема как таковая) является произведением наряду с «более сложными» произведениями; лексема и «более сложные» произведения обнаруживают общность «не только по своим стихиям, но и по способу их соединения» (11, 179).

Произведение словесности — это не только роман, поэма, рассказ, стихотворение и т. п.; это и афоризм, каламбур, а в фольклоре пословица, поговорка, загадка и т. п. Все они, вплоть до известных примеров однострочного стихотворения, в функциональном отношении представляют собой самостоятельные произведения. Легко однако возразить, что даже наикратчайшие из них содержат не менее двух-трех лексем. Тогда, может быть, Потебня делает чисто теоретическое допущение, полагая, что лексема тоже способна быть произведением, хотя и очень простым? Или прав Г. О. Винокур, который, оригинально медитируя над трудами Потебни в 40-е годы, между прочим приписал своему предшественнику отождествление «общего» («практического») языка с «искусством» (5, 245 и далее)? Г. О. Винокур, по всей видимости, неправ — концепция А. А. Потебни, который якобы «всякое вообще слово считал поэтическим» (5, 390), трактуется им с упрощением. На деле Потебня предполагал среднее

поэтическому переживанию образности слова только при особых условиях: «во времена далекие от нашего», либо у людей с атавизмами мифологического сознания — «в современном простом народе» (11, 172—173); короче, создается впечатление, что именно Г. О. Винокуром недопонималась, в отличие от Потебни, психологическая разница людей XIX века и обладателей, по выражению Потебни, «взгляда темных веков» (11, 172). Далее, А. А. Потебня не считал, конечно, что обычные слова современного русского языка, даже если в них и жива внутренняя форма, способны быть чем-то большим, нежели элементом произведения искусства. Тем не менее вопрос о лексеме как самостоятельном произведении заслуживает дополнительного анализа.

Как известно, под внутренней формой А. А. Потебня понимает «ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, которым выражается содержание» (11, 175). Конкретно говоря, внутренняя форма — «образ (разрядка наша. — Ю. М.), который указывает на это содержание» (11, 179). Указывает — то есть «дает направление мысли слушающего» (11, 180). Поэт в творческих целях как бы перетолковывает этимологию слова, обыгрывая его созвучность другому слову, хотя бы и вовсе не родственному. Ср. у Державина: «Бурно бурей буреванье / И бореев в сем бору», — где имитируется некая «общность» этимологически различных слов «буря», «борей» и «бор». Подчеркнем нюанс: поэтом «сотворены» здесь лишь синтаксические связи между обычными словами русского языка. Но сотворенные межлексемные связи, оказывается, повлияли и на внутреннее строение лексем — вызвали ощущение «перестройки» их морфемного состава (так, в слове «борей» выделился мнимый корень 'бор'). Следовательно, творческий акт Державина косвенным образом сказался и на словах — на составляющих их морфемах, на синтактике морфем. А именно здесь воплощена внутренняя форма лексемы.

Но существует необычный тип лексем, которые, так сказать, «впрямую» являются произведением — то есть результатом творческого акта. Это авторские неологизмы. Небезынтересно отметить, что создающим неологизм человеком «творятся» тоже, как правило, только синтаксические связи (в данном случае, между морфемами). Новые морфемы создаются лишь в неологизмах, подобных «глокой куздре» Л. В. Щербы, — то есть в несомненно раритетных ситуациях.

Авторские неологизмы обычно «консервируются» контекстом, не входя в бытовую речь, а потому не подвергаются постепенному стиранию этимологии — «забвению» внутренней формы. Для наблюдений над внутренней формой слова они поэтому особенно удобны. Неологизм — это воистину и слово и синтагма (цепочка морфем); и образ и произведение! Неологизм представляет собой результат индивидуального творчества; в худо-

жественном контексте он является поэтическим образом — своеобразной «свернутой» метафорой; с точки же зрения чисто языковой, лексико-синтаксической, он выступает адекватным заместителем некоторой аналитической, описательной конструкции. Неологизм — слово, которое, как правило, замещает часть фразы, фразу или даже группу фраз. В самом деле, северянинское «разлепесточил апельсин» легко разворачивается в подразумеваемое нормами русской синтактики (на месте, занимаемом им в контексте) выражение «разделил апельсин на дольки, напоминающие собой лепестки»; «издинамитить старое» у Маяковского вообще поражает своей семантической сконцентрированностью. Его внутренняя форма дает аналогичную языковую развертку («взорвать старое при помощи динамита»). Но этим дело не ограничивается. В контексте поэмы «15000000» неологизм «издинамитить» означает, безусловно, «осуществить социальную революцию» и «стереть с лица земли культуру прошлого» (со всеми футуристическими нюансами предполагаемого уничтожения старой культуры), а также имеет и иные, более дробные, углубленные в проблематику данного произведения, но совершенно реальные смысловые оттенки. Как итог, наблюдение любого авторского неологизма свидетельствует, что слово (лексема) способно при должных условиях разворачиваться в описательную конструкцию относительно большого объема и что, противоположным порядком, описательная конструкция способна к сжатию до пределов лексемы.

Представим теперь, что описательная конструкция является небольшим словесным произведением (пословицей, загадкой, каламбуром и т. п.), и отсутствие резкой границы между произведением и лексемой станет особенно ясным. В каламбуре отмеченные процессы разворачивания-свертывания могут протекать даже без потерь в деталях. Вспомним известное «человек — чело века», где взаимообратимость слова и словосочетания доведена до абсолюта: две лексемы, «чело» и «век», легко свертываются до уровня морфем и объединяются связью, характерной для русских двукоренных сложных слов; обратная процедура заключается в разъединении этой связи, в развертке корней до полноценных существительных и в объединении этих двух существительных требуемой нормами русского языка синтаксической связью. Но может ли большое произведение «свертываться» подобно загадке или каламбуру?

Вопрос этот заставляет вспомнить еще об одной впечатляющей потебнянской идее — относительно «способности поэтических произведений сжиматься в пословицу или выделять из себя пословицу (что не все равно) ...» (11, 519). Великий филолог считал, как известно, что «весь процесс сжимания более длинного рассказа в пословицу принадлежит к числу явлений, имеющих огромную важность для человеческой мысли» (11, 519).

После того, что говорилось выше об отношении А. А. Потебни к терминологии, буквально (в узкожанровом смысле) понимать «рассказ» и «пословицу» было бы наивно. Бесспорно одно: что крупнообъемное произведение словесного творчества может, по Потебне, быть сжато до самых малых параметров; взаимоотношения, например, стихотворения и каламбура, вероятно, аналогичны отношениям рассказа и пословицы.

«Сжимание» большого текста, по мнению А. А. Потебни, возможно в силу того, что «масса разнообразных мыслей», составляющих произведение, заменяется на образ; потеря многих деталей компенсируется присущей образу (по Потебне) способностью к «сгущению мысли» (11, 520). Эта последняя способность и превращает поэтическую деятельность в «один из главных рычагов в усложнении человеческой мысли и в увеличении быстроты ее движения» (11, 520). А. А. Потебней был рассмотрен широкий набор примеров сжимания словесных произведений значительного объема до фразы в несколько слов; прибавим к этому наблюдавшуюся нами способность языковой конструкции сжиматься до пределов одной лексемы (неологизма). Тогда пословица, поговорка, каламбур и иные небольшие произведения начинают выглядеть своего рода посредующим звеном между крупным произведением и опять-таки лексемой!

Очень трудно попытаться оспорить А. А. Потебню, не сумев предварительно «расправиться» с его основными семантическими представлениями (и не опровергнув, прежде всего, идею семантического «сгущения» мысли в образе). Но именно в представлениях о «сгущении мысли» А. А. Потебня не одинок. Его концептуальный тезис, что «поэтический образ дает нам <...> возможность замещать (разрядка наша. — Ю. М.) массу разнообразных мыслей относительно небольшими умственными величинами» (11, 520), перекликается с концепцией А. Н. Веселовского. Последнему принадлежит известная афористическая формула: «История эпитета есть история стиля в сокращенном издании» (3, 73). Нет оснований думать, что эпитет обладает какими-то хитроумными свойствами, выделяющими его среди всех иных элементов поэтического стиля — метафор, метонимий и сравнений; неологизмов, рифм, синтаксических конструкций и т. д. и т. п. Высказывание А. Н. Веселовского применимо, по всей видимости, ко всякому словесному образу в стилевой системе. История элемента стиля есть история стиля «в сокращенном издании» — иначе неправомерно было бы появление монографий по истории русской рифмы, по истории тропов и т. д. Элемент стиля способен быть репрезентатором стиля, хотя он, конечно, содержит лишь самую схематическую, «свернутую» информацию о стиле как целом. Современный автор, варьируя и перефразируя идею А. Н. Веселовского, недавно сравнил это свойство стиля с «генным набором в клетке» (1,81). Не решаемся

оценить его оригинальное сравнение. Ясно, однако, что имеются реальные чисто филологические способы закрепления информации о стиле в единственном его элементе.

Значения слов и фраз непосредственно соотносятся с идеями текста, с его проблематикой и дают, тем самым, представление в первую очередь о данном произведении. Для стиля же огромную роль играет, несомненно, синтаксис — способ соединения морфем в неологизме, способ соединения слов во фразе и т. д.

С современной нам точки зрения словесное художественное произведение — сложная система. По типу эта система отлична от так называемых «технических» систем (членящихся на дискретные, безболезненно «вывинчиваемые» и «звинчиваемые» для анализа элементы, которые также легко заменяются на дубликаты). Художественное произведение зато близко к «биологическим» системам — живым организмам, — где элементы как бы «перетекают» друг в друга и где, соответственно, их вычленение в целях анализа — процедура либо трудная, либо неправомерная, либо просто невозможная. Скажем, рифма вне стиха — безжизненный «выломок», лишенный большинства присущих рифме «на ее месте» свойств. (Ср. идеи новых работ Л. И. Тимофеева, который в книге (17) далеко не случайно привлекает для чисто филологических целей определение системы, даваемое физиологом академиком П. К. Анохиным). Элемент художественного произведения, разумеется, не может обладать полноценными свойствами этого произведения, потому всегда бесплодны прямые семантические интерпретации отдельных звуков, стихотворных размеров и т. п. Однако в достаточной мере плодотворны стилиевые интерпретации тех или иных элементов поэтики произведения. По эпитетам, рифмам, неологизмам трудно составить сколько-нибудь вразумительное впечатление о содержании произведения. Но по ним, как это хорошо известно, можно нередко угадать автора (или, во всяком случае, очертить группу предполагаемых в качестве автора художников). Так, по неологизму «заратустрь» («Заря ночная, заратустрь!») нельзя с уверенностью сказать, Маяковский перед нами или Хлебников, но можно со всей уверенностью исключить множество других поэтов. Стоит чуть расширить контекст, и Хлебников будет опознан точно. Стиль как целостность может быть «обрисован на основании наблюдения одного его элемента.

С другой стороны, именно стиль выступает фактором, позволяющим «сжать» до пределов пословицы или даже неологизма «массу разнообразных мыслей». Аспект, разрабатывающийся А. Н. Веселовским, существенно дополняет то, что говорит по поводу «сжимания» А. А. Потебня. Одно слово может служить адекватной заменой группы слов не повсеместно, а, конечно, только в контексте определенного стиля; с такой оговоркой созданная А. А. Потебней теория семантического сгущения начи-

нает выглядеть уже абсолютно убедительной. Стилевой план позволяет читателю Маяковского уловить такие семантические нюансы неологизма «издинамитить», которые проблемно-тематический план поэмы «150000000» выявляет лишь отчасти. Вне проблематики поэмы потеряется тот семантический пласт данного неологизма, который вытекает из сюжетного контекста (социальная революция). А вот не ассоциируясь со стилем Маяковского, данный неологизм утратит почти всю свою семантику (сохранится лишь обусловленная значением составивших его морфем внутренняя форма). Можно напомнить и иной аспект: за пределами стиля Маяковского для передачи содержания, сопоставимого по своему объему и структуре с содержанием, выраженным в «издинамитить», потребовалось бы «развернуть» неологизм Маяковского в небольшой связный словесный текст (то есть «произведение»). Это рассуждение имеет чисто теоретический смысл, но все-таки укажем, что получившийся текст неизбежно примитивизировал бы всю ту «массу разнообразных мыслей», которая спонтанно и мгновенно передана Маяковским благодаря созданию так характерного для его семантически напряженного стиля элемента — неологизма.

Проблемы стиля, попутно привлеченные нами к обсуждению в связи со «сжатием мысли», носят, как это понятно, глобально сложный характер. Но их сложность, по-видимому, не мешает заключить, что как идея «сжимания», так и идея однородности «слова» и произведения могут эффективно обсуждаться, лишь когда у нас имеется информация о типе стилевой системы. В каламбуре слово и его развертка стилистически однородны. Однородностью стиля и обусловлена равнозначность их семантики. Однородностью стиля обуславливается равнозначность внехудожественного слова и его семантического описания в таком, например, широко распространенном виде текста, как толковый словарь. Напротив, произведение, «по-словарному» трактуемое о семантике поэтического неологизма, никак нельзя было бы признать семантически ему равнозначным. Как явления разных стилевых систем, они были бы лишь соотносительны.

Процесс «сжимания» высказывания, «сжатия» его семантики (и, обратно, их развертка) при внимательном рассмотрении, оказывается, — очень распространенное явление. Конкретные примеры, данные А. А. Потебней, — не более как иллюстрация. За пределами этих примеров реально существуют иные весьма разнообразные феномены. Сюда относится фольклорная загадка. Сюда же относится ряд литературных приемов, которые нормативными поэтиками уже много веков более или менее удачно сводятся к условному понятию «синекдохи». Все феномены, связанные со сжиманием-разверткой, обнаруживают одну черту: в их основе — парафразирование, то есть акт перевода из стиля в стиль.

Последнее напоминает, что «сжимание» высказывания основано на процедурах, аналогичных тому, что происходит при переводе. Так, составляющее основу «сжимания» лексики эллиптирование (выкидка) определенных слов и словосочетаний неизбежно при всяком переводе из стиля в стиль. Не менее глобальную роль при «сжимании» играет не столь наглядное, как эллиптирование, явление концентрации синтаксических связей на небольшом лексическом плацдарме; лексическое сокращение сопровождается усилением роли синтаксиса, часто внешне незаметным, потому что новые связи непохожи на обычные, формально-грамматические; новые связи качественно перестраивают синтагму — ее линейная структура точно сматывается в клубок, пронизанный глубинными перекрестными связями. Сокращение лексики и перестройка синтаксиса резко «сгущают» смысл.

Чем выше образная «сгущенность» семантики высказывания, тем ярче должны быть средства, сигнализирующие о его стилевой принадлежности. Эти средства — своего рода «ключ» к смыслу. Заметить и понять сигналы о стиле высказывания, суметь настроиться на «ключ» — дело личной читательской культуры. Очень важно в данной связи оговорить следующее. Поскольку А. А. Потебня считал возможным прибегать к образу («намеку») и в филологической науке, постольку понимание его собственного научного стиля тоже зависит именно от настройки читателя на определенный «ключ».

Стиль воплощается, в первую очередь, не в содержании и не во внешней форме высказывания, а в его внутренней форме. В русской литературе множество примеров совершенно закономерного и естественного повторения тем, идей, сюжетов. С другой стороны, скажем, произведения стихотворные в подавляющем большинстве рифмованы, написаны одним из общеупотребительных силлабо-тонических размеров, аллитерированы и пронизаны метафорами, метонимиями, сравнениями, эпитетами и т. п. Стиль — та сила, которая индивидуализирует общераспространенное содержание, общеупотребительные формы его выражения. В поэтическом языке сложная метафора может встретиться многократно, но лишь Маяковским слова связаны так, что получилась, например, следующая конкретная реализация одного из метафорических типов: «Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выживевший лакей на засаленной кушетке, буду дразнить об окровавленный сердца лоскут». Может многократно встретиться каламбурная рифма, но созвучие именно слов 'врезываясь/трезвость', 'Персия / теперь сиял' и т. п. — результат работы Маяковского, заставившего составляющие эти конструкции слова занять определенную синтаксическую позицию. Здесь уместно напомнить, что Потебня указывал на наличие внутренней формы у «словосочетаний, предложений и более крупных синтаксических образований» (16, 70), считая

каждое из них «отдельным поэтическим целым» (11, 177). Отсюда его выражение «слово», на котором мы уже делали акцент выше, — оно порою обозначает не лексему, а именно сочетание лексем, имеющее целостную внутреннюю форму.

Процесс сотворения всякой внутренней формы включает в себе акт отбора (морфем, слов, более сложных единиц) и последующего объединения их мотивированной, но в чем-то непременно индивидуальной, окказиональной синтаксической связью. Так рождаются и неологизм, и метафора, и рифма, и единицы большей сложности. — Неологизм — это своего рода «точка в синтагме», где концентрируются многие синтаксические связи (тем более сложные, чем больше эллиптировано подразумеваемых лексических членов описательной конструкции, соответствующей неологизму в языке вне данного стиля). Внутреннюю форму неологизма поэты все время как бы пытаются «развернуть» невидимые синтаксические напряжения, но развернуть не могут, так как уравниваются противоположным «сжимающим» действием стиля.

— Метафора — это «насильственное» синтаксическое связывание слов, языковая семантика которых препятствует такой связи. Внутренняя форма метафоры — основа ее художественной семантики — создается именно как результат трансформации языковых значений лексем окказиональными синтаксическими связями и значениями.

— Каламбур — это особая двучленная внутренняя форма. В ее пределах обыгрывается именно наличие «внутренней» связи (то есть связи, в языке бытового общения закамуфлированной) между «сжатым» членом и «развернутым» членом; наглядно осмысливается и двуединство.

— Рифма — особенно сложное синтаксическое явление. В ряду рассматриваемых однородных элементов стиля она особенно близка к каламбуру ('человек / чело века' может в определенном контексте фигурировать как составная рифма). Но она характеризуется сравнительно с другими стилевыми элементами наименьшей автономией от контекста. Она «вращена» в высказывание. Вне контекста ее компоненты (стоящие обычно в разных падежах или принадлежащие к разным частям речи) кажутся синтаксически несвязанными. Однако на деле их объединяет в контексте реальная и, притом чисто синтаксическая связь — но не обычного линейного, формально-грамматического типа, а связь перекрестная, окказиональная. Именно связи типа рифменных как бы «сгибают», «смаывают», «переплетают», «спутывают», «завязывают в узлы» синтаксическую цепь высказывания в языке поэзии. Сегодня уже стало общим местом в филологии, что созвучность компонентов рифмы вызывает семантический эффект — ассоциирование их лексических значений. Так рождается внутренняя форма рифмы. Гораздо менее изучено

иное обстоятельство — то, что систематическая рифмовка, перестраивая синтаксис, создает уникальные возможности для усложнения («сгущения») передаваемого в высказывании смысла. Наличие у рифмы целостной внутренней формы маскируется несколькими факторами. Например, тем, что ее компоненты «разнесены» в контексте на отстоящие друг от друга позиции — вплоть до вхождения в различные фразы (ср. с этим тот же неологизм, представляющий собою результат «переплавки» ряда слов в одно, — в неологизме внутренняя форма демонстрирует себя с максимальной откровенностью). Целостная внутренняя форма рифмы маскируется и непривычным характером связи, объединяющей ее компоненты (ср. с этим синтаксис каламбура, вполне соответствующий обычным грамматическим нормам). Одним словом, рифма — почти единственная поэтическая внутренняя форма, при сотворении которой не используются чисто языковые формообразовательные аналогии (ср. способы образования неологизмов). В синтактике рифмы, как правило, отсутствует собственно языковая мотивировка. Но тем самым в этом элементе максимально воплощено своеобразие авторского синтаксиса. В нем с максимальной яркостью отражается авторский стиль. Подобные качества делают рифму как тип внутренней формы одним из важнейших факторов стилеобразования.

[Надо учитывать, впрочем, что в определенных индивидуальных стилевых системах рифма (или другие элементы стиля, в том числе какие-то из рассмотренных выше) может выступать и стилистически нейтрально — по известному выражению Л. В. Щербы, как «упаковочный материал» художественного высказывания].

Сотворение автором всякой новой внутренней формы есть не что иное, как образное «сгущение» передаваемых мыслей. Поэтому таким сотворением вызывается параллельное усиление стилистической маркированности высказывания. Отсюда — неразрывность категорий стиля и потебнянской внутренней формы. Важность первой из них для современной филологии (и лингвистики и литературоведения) доказательств не требует. Однако теория стиля находится ныне в достаточно кризисном состоянии и нуждается, как обычно бывает в такого рода ситуациях, в притоке «свежих идей». Идеи А. А. Потебни о внутренней форме могут очень пригодиться для ее разработки.

К сожалению, современному восприятию потебнянских идей вредят многие не зависящие от самого Потебни факторы. В частности, распространенное убеждение, что проблему внутренней формы он сводил к слову (лексеме) — причем к словам с живой этимологией. Из такого понимания исходил в своей критике Г. О. Винокур, на том же основывалась, например, более поздняя критика со стороны Л. А. Булаховского (2, 26). «Лексемные» интерпретации резко сужают семантику важнейших

идей Потебни. На деле великий филолог говорил следующее: «Элементарная поэтичность языка, то есть образность отдельных слов и постоянных сочетаний, как бы ни была она заметна, ничтожна сравнительно со способностью языков создавать образы из сочетания слов, все равно образных или безобразных» (12, 104). Нормально ли положение, заставившее недавно О. П. Преснякова уделить немало места доказательству существенности этого тезиса для потебнянской концепции (см.: 16, 65)! Между тем, совершенно ясно, что и в лексеме образ создается сочетанием морфем, а не каким-либо иным способом; что аналогичный «синтаксический» принцип действует в образовании внутренней формы на всех «уровнях» иерархии данного явления.

Следует оговориться, что диспропорция между вниманием к лексике и вниманием к синтаксису характерна для субъективного восприятия не только потебнянской концепции. Филологи порою говорят о «языке», подразумевая на самом деле под «языком» его лексику, словарь. Это психологический феномен, нечуждый и литературоведам, и лингвистам. Например, авторы недавней яркой работы (8) посвящают ее, как явствует из заглавия, «спорам о языке» в начале XIX века (преимущественно между «архаистами» и «карамзинистами»). Но реальное содержание работы почти исключительно сводится к анализу споров о лексике. Только потому могло возникнуть удивляющее при первом чтении утверждение авторов, что Карамзин в своей реформе якобы ориентировался на «разговорное койне» (8, 198). Койне — это не только слова, но и их связи. Между тем Карамзину можно приписывать лишь ориентацию на лексику современного русского языка, но никак не на русский разговорный синтаксис! Достоин упоминания, что именно отрицательное отношение «карамзинистов» к «мнимым неправильностям» разговорного синтаксиса было предметом насмешек такого филологически эрудированного «архаиста», как В. К. Кюхельбекер; выражение «мнимые неправильности» принадлежит ему. Далее, именно в произведениях «архаиста» Грибоедова шло широкое внедрение в русский поэтический стиль особенностей разговорного синтаксиса — внедрение, раздражавшее карамзинистов и вызывавшее их критику (см. 6, 85). Об отношении к синтаксису самого Карамзина можно получить представление, анализируя его «Полное собрание стихотворений» (М.-Л., 1966). Со второй половины 1790-х годов в текстах Карамзина, осуществляющего свою реформу «слога» на практике, полностью отсутствуют элементы разговорного синтаксиса вроде солецизмов, анаколуфов, амфиболий и парцелляций; инверсии минимальны. Его отношение к употреблению падежей, глагольному управлению, порядку членов предложения и т. п. идеально с точки зрения норм школьной грамматики даже конца нашего XX века и вполне согласуется с грамматиками А. А. Барсова, Н. И. Греча и т. д. Старательное соблюдение норм пись-

менного синтаксиса не случайно сопровождается у Карамзина пропорциональным снижением роли тропов, критическим отношением к рифме — вообще ростом тенденций к линейности синтаксиса и «повествовательности» стиля, нашедших предельное выражение в слоге Карамзина-ученого.

Сказанное хотелось бы подчеркнуть в связи с тем, что А. А. Потебня в своих работах не раз повторял и варьировал еще одну мысль: именно разговорная речь (следовательно, в частности, разговорный синтаксис) наиболее близка по своей организации к речи поэтической (см. 15, 94). Характерно, что для подкрепления этой идеи Потебня предпочитал обращаться не к русской поэзии XIX века (к которой относился с величайшим пиететом), а к устному народному поэтическому творчеству. После Державина и «архаистов» не особенно много осталось в русской поэзии авторов, использующих в творческих целях парафразирование «мнимых неправильностей» разговорного синтаксиса! Но стиль поэзии XX века дал богатейший материал для подтверждения и потебнянского тезиса о разговорной речи как источнике поэтических стилевых открытий (см., напр., 10).

3.

Концепция А. А. Потебни имеет исключительную важность для современных исследователей стиля — и в лингвистическом и в литературоведческом варианте этого понятия. Ее универсальное значение связано с тем, что сам А. А. Потебня не был, по всей вероятности, односторонним специалистом в духе гуманитарных наук XX века — он был филологом, умевшим привести даже в чисто лингвистический, казалось бы, труд по русской грамматике искусствоведческий ракурс; или, с другой стороны, сблизить историю литературы «с историей языка» (11, 210). Важность концепции Потебни для теории стиля можно, вероятно, почувствовать уже из рассмотрения двух анализированных выше его идей (о внутренней форме; об образном «сгущении мысли»). На том же примере легко ощутить, насколько не защищена потебнянская концепция от пристрастной критики и от критики, основанной на недопонимании, хотя бы и добросовестном. С другой стороны, особая яркость, уникальность идей, высказанных А. А. Потебней — одним из сильнейших концептуалистов в истории филологической науки, — может привлекать авторов, для которых затушевана естественная грань между наукой и искусством (см. 9). Субъективный пересказ Потебни не раз использовался в игровых целях — для придания изложению большего «научкообразия», для демонстрирования перед читателем эрудиции, для подкрепления тезиса о наличии у той или иной творческой группировки выдающихся «предшественников» и т. п. Словом, в идеях Потебни не раз пытались уло-

вить чуждый им привкус «художественности», волюнтаризма. Между тем именно А. А. Потебня полагал, что «должны быть нормальные отношения между противоположными свойствами поэтической и научной деятельности, должно быть между ними известное равновесие, нарушение коего отзывается в человеке страданием» (11, 196).

Эти нормальные отношения всюду соблюдены в его личной многогранной творческой работе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Боров Ю. Б. Искусство интерпретации и оценки. М., 1981.
2. Булаховский Л. А. Александр Афанасьевич Потебня. Киев, 1952.
3. Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940.
4. Виноградов В. В. О теории художественной речи. М., 1971.
5. Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
6. Кюхельбекер В. К. Дневник. — Русская старина, 1875, т. 14.
7. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.
8. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры. — Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, вып. 358. Тарту, 1975.
9. Минералов Ю. И. Стилистические взгляды Г. О. Винокура и филологическая традиция. — Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, вып. 573. Из истории славяноведения в России, I. Тарту, 1981.
10. Минералов Ю. «Мнимые неправильности» (о поэтической речи Маяковского). — «Вопросы литературы», 1983, № 7.
11. Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976.
12. Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.
13. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике, т. I—II. М., 1958.
14. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике, т. IV. М., 1977.
15. Потебнянські читання. Київ, 1981.
16. Пресняков О. П. Поэтика познания и творчества. Теория словесности А. А. Потебни. М., 1980.
17. Тимофеев Л. И. Слово в стихе. М., 1982.
18. Франчук В. Ю. Александр Афанасьевич Потебня. Киев, 1975.

К ИСТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕЙ А. А. ПОТЕБНИ В НАЧАЛЕ XX В.

В. Ю. Франчук

В 1901 году¹, в десятую годовщину смерти А. А. Потебни, в г. Орле вышла из печати книга «Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни». Она представляет собой подробный конспект и вместе с тем сжатое изложение трех первых томов исследования Потебни «Из записок по русской грамматике», а также его статьи «Значения множественного числа в русском языке».

Как сообщает в предисловии автор книги, он пытался не только отметить явления, наблюдаемые Потебней в истории восточнославянского синтаксиса, но и выявить внутренние мотивы, на основании которых ученый дает новое освещение фактов языка и нередко приходит к новым выводам по сравнению с предшествующими и современными ему исследователями. По его словам, именно поэтому он «отрешился от обычных и господствующих взглядов на синтаксис русского языка, намеренно² подчинил себя всецелому влиянию Потебни и, находясь под исключительным его влиянием, заботился единственно о том, чтобы проникнуть в сущность основных его взглядов, уловить внутреннюю связь между ними и выразить весь строй его системы по возможности короче и вместе точнее»³.

Исполнителем оригинального замысла стал хорошо известный в научных кругах преподаватель русского языка и словесности Иван Михайлович Белоруссов⁴. В предисловии к книге отмечено также, что во время ее написания автору оказывал дружескую поддержку и помощь А. А. Шахматов: «В заключение считаю своим долгом принести глубокую благодарность императорской Академии наук за выданную мне субсидию на издание настоящей книги и ординарному академику А. А. Шахматову за его советы и указания, которыми он не оставлял меня при выполнении этой работы»⁵.

Среди бумаг А. А. Шахматова, хранящихся в Ленинградском отделении Архива АН СССР, нам удалось выявить большое

количество писем И. М. Белоруссова. В ряде писем речь идет и о книге «Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни» (ф. 134, оп. 3, ед. хр. 108, лл. 1—41, 75 об., 76). Это дало возможность довольно обстоятельно проследить за процессом ее создания и участием в этой работе А. А. Шахматова.

Как свидетельствуют материалы, мысль о составлении и издании конспекта трудов Потебни по синтаксису оформилась не сразу. Этой работе предшествовали следующие события. И. М. Белоруссов, известный педагог, автор школьного учебника русского языка, построенного на грамматической теории Потебни, был уволен от обязанностей директора Орловской гимназии. Потеряв с работой и средства к существованию, Белоруссов хлопочет о своем восстановлении. В тяжелое для него время Ивана Михайловича поддержали три академика (Алексей Александрович Шахматов, Александр Николаевич Пыпин, Василий Васильевич Латышев). Во время встречи в Петербурге Шахматов предложил Белоруссову приняться за труд по историческому синтаксису восточнославянских языков.

Из опубликованных ниже отрывков письма Ивана Михайловича к Шахматову от 15 февраля 1900 г. можно сделать вывод, что составление конспектов синтаксических трудов А. А. Потебни и его ученика А. В. Попова оказалось необходимым исследованием именно для успешного выполнения предложенной ему работы.

«Прошло уже два месяца с лишним с той поры, как я, облаканный и ободренный Вами вкупе с Александром Николаевичем и Василием Васильевичем, вернулся в Орел, чтобы сесть за предложенную работу. По следам за мною прибыл и дорогой груз с необходимыми академическими изданиями...

В это же время занялся разыскиванием «Записок по русской грамматике» Потебни (2-е издание), которых не нашел в Петербурге, и «Vergleichende Syntax» Миклошича (обе книги нашел, слава богу, в Саратове!).

Как видите, заботы о «насушном хлебе» отняли у меня больше двух месяцев и не позволили положить даже начала той работе, к которой лежит теперь душа моя. Впрочем, если бы я и был свободен, то едва ли бы успел приступить к ней серьезно за это время, так как предварительная подготовка должна быть выполнена с надлежащею предусмотрительностью. Главное — план работы, без которого немислимо и собиране материала. А план-то у меня и не установился еще. Сперва думаю проштудировать хорошенько исследование Попова об именительном, звательном и винительном падежах, «Записки по русской грамматике» Потебни и отчасти «Syntax» Миклошича, к чему и приступил уже с 10 февраля. Начал с исследования Попова с одновременным наведением справок из Потебни и Миклошича, но сейчас же увидел, что одного чтения с пометками на полях будет недос-

таточно. Необходимо делать **правильный письменный** конспект **всего** исследования, к чему и приступил. То же самое придется проделать и с Потемней и Миклошичем. Ваши исследования о языке летописей также необходимы мне. И только составив правильные конспекты этих исследований и сопоставив их между собою, я могу окончательно остановиться на подходящем для себя плане. Эти конспекты, во-первых, дадут мне рубрики для собирания материала, а во-вторых — послужат базисом для установления системы моего исследования. Что для **моей** работы будет неподходящим, то выброшу из этих конспектов, а чего будет нехватать, то вставлю в подходящих местах. Правда, есть у меня и теперь уже свой план, но план еще чисто а ргог-ный или почти а ргог-ный, который на деле может оказаться неподходящим или даже невыполнимым. Сущность его должна быть основана на **естественном** развитии языка у всякого народа, т. е. должно начинать изложение синтаксиса с простейших форм и восходить к формам сложным. Таким образом, должны быть следующие главные отделы: I. Синтаксис **простых** предложений с указанием способов выражения всех членов простого предложения. II. Синтаксис **сложных** предложений, как расширение первичной формы предложения. III. Синтаксис **сложных** предложений, который должен распасться на два отдела: 1) сложные предложения **сочиненные**, для которых древнерусский язык должен дать богатейший материал, благодаря употреблению причастий вместо личных глаголов, и 2) сложные предложения **подчиненные**, материал для которых в древнерусском языке еще богаче и разнообразнее. В этот же отдел, как думается мне на основании некоторых данных, придется внести расследование и постепенного перехода **сочиненных причастных** предложений в **подчиненные**. Наконец, IV отдел должны составить **согласование и управление** слов, для которых, впрочем, единственное место может быть вслед за синтаксисом простого и сложного предложения, так как говорить о согласовании слов, о значении и функционировании падежей в предложениях всего естественнее после рассмотрения членов предложения.

Вот вкратце намеченный мною план, который, может быть, придется еще изменить или переработать после тщательного сопоставления конспектов по исследованиям Вашим, Попова, Потемни и Миклошича.

В частности, имею в виду собрать, по возможности, все данные, характеризующие синтаксис древнерусского языка от начала письменности по XIV век, как условились мы с Вами, и на основании совокупности всех материалов определить:

1) какими синтаксическими формами владел древнерусский язык исследуемого периода, 2) каких форм не развивает еще в древнерусском синтаксисе по сравнению с синтаксисом современного русского языка, 3) какие формы существовали, которых сов-

ременный русский язык не удержал в себе, 4) чем заменены тогдашние характерные формы в современном русском языке, или же они окончательно исчезли вследствие постепенного изменения и перерождения живой речи, как и всякого живого организма, принимающего новые формы и оставляющего в себе неизменным только существенное и субстанциальное, 5) буду стремиться также указывать, где это будет возможно, каким образом создались некоторые новыформы современного языка из первичных форм древнерусского языка.

Интересное также явление должны представлять собою и переводы: 1) как древнерусский переводчик справлялся с сложными формами синтаксиса чужого языка; причем придется наблюдать 2) рабский перевод из слова в слово и вследствие этого непонятность переводного языка, 3) заимствование синтаксических форм из чужого языка, 4) постоянное приобретение, так сказать, права гражданства этими заимствованными формами, 5) удаление некоторых из них с течением времени как не привившихся, 6) замена их своими родными формами, 7) удаление целых оборотов речи и замена их другими под влиянием живой речи и т. д. и т. д.

Все эти и многие другие частности, разумеется, лишь чувствуются пока и к полной отчетливости могут быть приведены только после собранного материала и при самом исследовании. Поэтому понятно, как бы мне хотелось **поскорее** приступить к собиранию самого материала; но помянутые конспекты займут, я думаю, немало времени, тем более, что Попов нелегко и нескоро читается отчасти по характеру самого исследования, а отчасти и по своеобразности стиля».

В марте 1901 г. И. М. Белоруссов еще раз побывал в Петербурге. Ознакомившись с составленным им конспектом трудов А. А. Потебни, Шахматов нашел его удачным и посоветовал опубликовать в одном из филологических журналов. Приехав в Орел, Иван Михайлович в письме от 20 марта сообщил:

«Возвратившись домой с лучшими надеждами и новыми чаяниями в будущем, я тотчас же поручил старшим дочерям своим переписывать свою рукопись, и если А. И. Смирнов⁶ не набрал еще первых номеров «Русского филологического вестника», то около половины моего конспекта может появиться ныне же летом. На днях засяду за предисловие и постараюсь сделать его возможно короче и содержательнее».

Однако надежды Белоруссова не оправдались. И в письме от 19 апреля этого же года он пишет А. А. Шахматову:

«Неблагоприятно складывающиеся обстоятельства еще раз заставляют меня беспокоить Вас письмом. Ради бога, извините.

«Русский филологический вестник» **весь** наполнен за нынешний год; мало надежды и на 1902 год, так что печатание моей работы в 1902-м году может быть только начато. Не говорю уже

о том, что А. И. Смирнов почти не находит возможности проставлять на полях страницы исследований Потебни, а это **крайне необходимо** для издания моей работы в том виде, в каком она задумана. Как теперь быть?

Между тем, не напечатав о Потебне, я не могу приступить и к Попову. Дело в том, что хоть конспект исследования Попова у меня и готов, но печатать его в том же виде, в каком можно и должно печатать Потебню, по моим соображениям теперь уже нельзя. Попов во многих местах так тесно соприкасается с Потебней, что **необходимо** будет сопоставлять их и делать выводы. А пока не будет напечатана работа моя о Потебне. Таким образом это почти невозможно или по крайней мере — крайне неудобно, выходит, что я или должен обречь себя на бездеятельность в течение 2-х или 1,5 лет, или же найти другое место, где бы можно было поскорее напечатать работу о Потебне. Но где такое место? Не можете ли дать мне совета? Нельзя ли, например, печатать в Журнале Министерства народного просвещения **при Вашей рекомендации** (с теперешней редакцией Журнала Министерства народного просвещения я вовсе незнаком), или не приютите ли меня в своем академическом «Сборнике», хотя и сознаю, что настоящая работа моя вовсе не для академического «Сборника». Печатать же на свои средства не имею возможности, да никто и не прочтет **моего** Потебни, если бы я издал его отдельно.

Так вот в каком положении я нахожусь теперь. Нет желания докончить даже предисловие, которое было начал. От нечего делать занимаюсь переработкой учебника по грамматике, который начну печатать с мая и тотчас же по напечатании представлю в Ученый комитет. Этимология уже переработана радикально, а вслед затем приступлю и к синтаксису. Постараюсь удерживать основные взгляды Потебни за небольшими отступлениями».

Зная о тяжелом материальном положении педагога в отставке, А. А. Шахматов выхлопотал ему материальную помощь, которую Белоруссов получил в апреле 1901 г. В письме от 25 апреля, благодаря Шахматова, он снова возвращается к мысли о самостоятельной работе по древнерусскому синтаксису:

«Сегодня одновременно получил и 100 р., и Ваше письмо. Приношу Вам сердечную благодарность и за то и за другое, только по поводу ассигнованных 100 рублей берет меня ужасное сомнение, как бы Академия не рассердилась на меня и не посмотрела на это дело иными глазами, чем Вы смотрите. Теперь я чувствую себя Крезом и на днях же приступлю к печатанию своей учебной грамматики.

Что же касается сообщаемых Вами сведений относительно печатания работы моей по Потебне, то я так и ожидал, как Вы пишете. Буду иметь дело с А. И. Смирновым: как-нибудь столкуемся. Одного только жаль, что дело затянется в долгий ящик,

а мне бы хотелось поскорее приступить и к самостоятельной работе по древнерусскому синтаксису. Дело в том, что, по замыслам моим, мне необходимо привести сперва учение Потебни и Попова к одному **определенному** началу, дать себе **точный** отчет об их взглядах во **всех** подробностях, а после только начать чтение древнерусских памятников в определенной системе. Иначе вся работа моя была бы лишь предварительною, случайною и, во всяком случае, недостаточно обоснованною. Не предрешая дела, я чувствую, что весь мой будущий труд должен будет сводиться 1) к **подтверждению** того, что уже есть у Потебни и Попова; 2) к **дополнению**, если окажется что-нибудь у них опущенное, 3) к расположению материала в **более строгом хронологическом** порядке, 4) к некоторым осторожным **поправкам**, если понимание мое будет расходиться с их пониманием, и 5) наконец, к **новым** выводам, если ход моей работы приведет к ним. Последнее есть, конечно, *plac desideria*, о которых пока и не мечтаю.

Несказанно благодарю Вас за категорическое обещание выслать книги. Буду учиться, учиться и учиться».

Вскоре, в письме от 10 сентября 1901 г., И. М. Белоруссов сообщил Шахматову о том, что приступил к печатанию своей книги:

«Так как ни А. И. Смирнов, ни наследники Хованского⁷, при всем их желании, **не в состоянии** напечатать **скоро** моей работы по Потебне, то я решил издать ее сам, благо, что Вы исходатайствовали мне от Академии сторублевое пособие. Придется прибавить еще не больше 200 рублей, но зато работа моя к новому году будет, по всей вероятности, готова. Первый лист набора при сем прилагаю, и, если найдете свободную минутку, то пробегите его. Длинного предисловия писать не решил, да и вообще, после Вашего совета, я еще раз пересмотрел свои тетради и сократил их, так что и с **Указателем** выйдет, я думаю, не больше 200 страниц. Первых страниц моего изложения слишком строго не судите, потому что они наименее удовлетворительны по сравнению с дальнейшим, хоть и здесь старался я **выжать** сущность дела, насколько она необходима для связи с последующим...

Я был бы очень признателен и благодарен Вам, глубокоуважаемый Алексей Александрович, если бы Вы уделите мне несколько минут в здании Академии, когда на этих днях приеду в Петербург. Может быть, дали бы еще какой-нибудь совет и относительно печатанья моей работы по Потебне на основании первого печатного листа».

Визит к Шахматову, вероятно, оказался счастливым. Во время встречи речь шла не только о трудах Потебни, но и о работе его наиболее одаренного ученика А. В. Попова (1855—1880). Подготовленную А. В. Поповым магистерскую диссертацию после его смерти издал А. А. Потебня под заглавием «Синтаксические исследования. 1. Именительный, звательный и винитель-

ный в связи с историческим развитием заложных значений и безличных оборотов в санскрите, зендском, греческом, латинском, немецком, литовском, латышском и славянских наречиях» (Воронеж, 1881). Этому труду и посвящено письмо И. М. Белорусова от 26 сентября 1901 г.

«Прилагаю при сем на отдельном листе список книг, которые Вы любезно обещали мне выслать из склада Академии наук. Буду ждать их с нетерпением.

Простите, пожалуйста, что в этот список я позволил себе включить еще одну книгу, о которой между нами не было речи. Это — Отчет И. И. Срезневского о присуждении Ломоносовской премии Потебне в 1875-м или 1876-м году⁸ (с точностью не припомню). Прочитать этот отчет для меня крайне важно теперь же, при печатании своей работы. Отчет Ф. Ф. Фортунатова об именительном, звательном и винительном падежах Попова, бегло прочитанный мною еще в дороге, до того напугал меня, что я, из естественной осторожности, необходимо должен прочитать и Отчет о Потебне. В Отчет Ф. Ф. Фортунатова надлежащим образом я еще не успел вникнуть, но общее впечатление получилось такое, что от исследования Попова не остается ничего, кроме тщательного собрания примеров и наблюдательности, обнаруженной исследователем в отделе с чередованием именительного с винительным. Основные же положения Попова, оказывается, не имеют научного значения и не могут быть признаны даже научными гипотезами⁹. Для меня, как профана, это поучительный сюрприз. Надо будет разобраться в доводах Ф. Ф. Фортунатова, проштудировать их хорошенько и усвоить, если буду в состоянии. **Некоторые** места рецензии на первых порах показались мне не совсем ясными и напоминающими стиль Потебни, но, привыкнув к языку Потебни, может быть, разберусь и с Отчетом Филиппа Федоровича. Во всяком случае, выдвигается для меня серьезный вопрос: что я должен делать с составленным мною конспектом по исследованию Попова? Есть ли разумное основание печатать его, хотя бы и с примечаниями под текстом или с надлежащим предисловием, в которое должна войти сущность рецензии Ф. Ф. Фортунатова? Может ли иметь хоть какое-нибудь научное значение печатание конспекта по данному исследованию, которое само по себе ненаучно в основах своих? Вопросы эти, разумеется, ставлю я самому себе, а не для того, чтобы вызвать Вас на ответ¹⁰, глубокоуважаемый Алексей Александрович».

10 марта 1902 г. И. М. Белорусов выслал А. А. Шахматову свой труд с таким письмом:

«Наконец-то имею возможность послать Вам только что отпечатанный «Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни».

Но не без опасения и страха выпускаю книгу свою: слишком

большую ответственность, кажется, взял я на себя, ободряемый Вами. Понять надлежащим образом все синтаксические учения Потебни как в основах, так и в частностях; разрешить многие недоуменные места, зависящие отчасти от своеобразного языка Потебни; указать внутреннюю связь между некоторыми отделами, по-видимому, не имеющими этой связи (в 3-м посмертном томе); сделать многочисленные сноски на предыдущее и последующее, чтобы объяснить Потебню **самим же Потебней**; отметить и объяснить некоторые разноречия не только в частностях, но даже и в основных положениях, наконец — изложить 1300 страниц компактной печати на 250 страницах, т. е. **сократить** более чем в пять раз и **удержать всего** Потебню — это едва ли было посильной для меня работой. Теперь мне кажется, что гораздо легче было бы для меня напечатать 2 тысячи страниц и выяснить на них синтаксическое учение Потебни, чем то же самое исполнить на 250 страницах. Но это сделано, сделано!.. Остается выждать, как посмотрят на мою работу? Сочтут ли ее простым извлечением из Потебни, или же заметят и тщательную обработку изложения с выяснением всех мест, представляющих то или другое затруднение при чтении самих исследований? Обратят ли внимание на мои многочисленные примечания и сноски, служащие необходимым разъяснением Потебни? Придадут ли им надлежащую цену и обратят ли на них вообще какое-либо внимание? А между тем многие из этих примечаний (увеличивших, к сожалению, объем книги) должны бы заставить подумать над некоторыми положениями Потебни, даже основными. Сомневаюсь, что придадут должное внимание и Алфавитному указателю, несмотря на то, что в нем под каждым словом я старался собрать в **системе** все, что говорится у Потебни по поводу данного слова. Вообще многое тревожит меня, но я считал бы себя удовлетворенным, если бы в конце концов оказалось, что по моей книге все-таки **легче** понимать Потебню, чем по его собственным исследованиям.

Одобренный встречей с Шахматовым, И. М. Белоруссов снова возвращается к мысли о самостоятельной работе над синтаксисом. 18 мая 1902 г. он пишет:

«На днях получил я совершенно неожиданно письмо от Д. Н. Овсяннико-Куликовского, служащее ответом на высланные ему мною некоторые свои брошюры. Не зная, что Вы уже передали мне впечатление, полученное им от моего изложения Потебни, Дмитрий Николаевич пишет, что он о книге моей «вынес впечатление, как о весьма тщательном и прекрасном труде, который делается настольной книгой для всех, кто только будет изучать Потебню», рецензию же для «Известий» будет писать только каникулами. Вы, конечно, поймете, как утешительно было для меня получить это письмо, и виновником сего являетесь Вы, глубокоуважаемый Алексей Александрович, ибо

без магического Вашего слова никто бы не обратил внимания ни на книжку мою, ни на меня самого, да и самой книжки моей о Потевне не было бы, если бы не Ваш совет, данный мне вовремя.

Кстати, ободряемый Вами, я в беседе с Вами, высказал, между прочим, мысль подвести итоги к синтаксическому учению Потевни и сделать некоторые поправки и дополнения, которые отчасти и намечены уже в примечаниях к моей книге. Вы одобрили эту мысль и обещали даже уделить место в академических изданиях (если, разумеется, выскажу я нечто самостоятельное и дельное). Правильно ли я понял Вас, и если правильно, то мне хотелось бы написать прежде всего о грамматическом атрибуте и, в частности, об аппозиции в связи с учением Потевни, а затем и о другом кое-чем, что у Потевни, по моему мнению, еще недоразвито и недокончено. Но меня смущает то, что Д. Н. Овсяннико-Куликовский, по-видимому, начал уже эту же самую работу в «Известиях...» под общим заглавием «**Из синтаксических наблюдений**. По вопросу о классификации бес-субъектных предложений. I—V». Статьи этой я не имею возможности прочитать, но предполагаю, что она является началом ряда статей «Из синтаксических наблюдений». Если предположение мое верно, то, без сомнения, и Дмитрий Николаевич будет трактовать о тех же самых вопросах, которые, по моему мнению, должны служить поправками и дополнениями к Потевне. Таким образом, я окажусь совершенно лишним и немощным... Хотел было я даже спросить Дмитрия Николаевича по этому поводу, но постеснялся и счел неудобным. Тем не менее, если душевное мое настроение уравнивается и если буду в состоянии рассуждать спокойно, непременно думаю писать об атрибуте и аппозиции, так как вопрос этот надо выяснить в системе синтаксиса Потевни. Следует также подвергнуть обстоятельному обсуждению учение Потевни и об объекте и обстоятельствах в точках соприкосновения этих членов предложения. Но заниматься этими вопросами в состоянии буду лишь тогда, когда так или иначе разрешит мою судьбу Григорий Эдуардович: если он вспомнит меня **надлежащим образом** и восстановит мое положение, тогда я с спокойным духом буду заниматься в области русского языка, если же не вспомнит, то... все-таки буду заниматься».

Но вопрос о возвращении в гимназию все не решался. И в конце 1902 года Иван Михайлович еще оставался безработным. 29 декабря он пишет:

«Незавидная участь постигла и моего Потевню в Ученом комитете: г. Аннинский сначала совсем было забраковал мою книжку, как пишет об этом И. А. Шляпкин¹¹, но потом, под влиянием со стороны других членов, Потевня был «допущен» в библиотеки учительских институтов, семинарий и учеников старшего возраста, т. е. туда, где менее всего нужен Потевня; в биб-

блиотеки же гимназий и реальных училищ он не допущен. Таким образом Потебня мой лежит в тюках, и я начинаю уже употреблять его на обертку других книг:

И оду уж его тиснению предают,
И в одах уж его нам ваксу продают...

Правда, некоторые лица выписывают моего Потебню, как, например, г. Поржезинский по Вашей рекомендации, но таким лицам я высылаю книги gratis, потому что они не богаче меня. Весь расчет мой при издании тысячи экземпляров основывался на рекомендации моей книги для библиотек средних учебных заведений (мужских и женских семинарий и реальных училищ), но расчет, как видите, не оправдался. Думаю еще толкнуться с своей книжкой в двери Учебного комитета (при Святейшем Синоде), но это сделаю уже тогда, когда будет напечатан о ней отзыв Д. Н. Овсяннико-Куликовского. Кстати, если отзыв этот действительно будет напечатан, то не могу ли я при Вашем добром содействии получить несколько оттисков, один из которых я и приложил бы при прошении в Учебный комитет».

Вместо ожидаемого отзыва Овсяннико-Куликовского в 1903 г. появилась рецензия приват-доцента Московского университета Н. Н. Соколова. Ее автор одобрил труд провинциального педагога, который изложил учение Потебни «достаточно кратко, достаточно точно и ясно, насколько это было выполнимо, и наконец в высшей степени удобно для пользования»¹². Однако рецензент отрицательно отнесся ко многим положениям синтаксической системы А. А. Потебни и упрекнул Белоруссова за отсутствие собственного мнения при изложении его взглядов. «Если бы г. Белоруссов, — пишет в заключение Н. Н. Соколов, — отшелся от рабского подчинения авторитету Потебни и выбрал себе иной путь в изложении его работ, напр. изложение отдельных мест тех же «Записок по русской грамматике», касающихся какого-либо одного вопроса и объединенных определенной целью и пониманием дела на всем протяжении работы, то труд его мог бы быть образцовым как для науки, так особенно для школы, которая давно нуждается в такого рода книгах»¹³.

Рецензия Н. Н. Соколова не удовлетворила Ивана Михайловича, так как в ней давалась неправильная оценка всей научной деятельности А. А. Потебни¹⁴. Возмущенный Белоруссов в письме Шахматову от 28 ноября 1903 г. пишет:

«Отзыв г. Соколова о моем Потебне прочитал я со вниманием и вынес очень грустное впечатление. Вся рецензия **намеренно** направлена на развенчание Потебни и никоим образом не может быть названа беспристрастной. Автор наш будто нарочно ждал случая, чтобы заявить *ogbi et igbi*, что Потебня вечно был

в хвосте по отношению к современной ему лингвистической науке, а потому и не обращали де на него внимания. Не без намерения, конечно, забыл он, что о Потебне есть целая литература, отведшая ему почетное место в науке (Сборник ОРЯС, т. 53); забыл он, должно быть, статьи Ляпунова, Ламанского, Будиловича и др., которые говорили совсем другое, чем г. Соколов, ссылающийся почему-то на один только краткий отзыв Срезневского. А к чему эта длинная экскурсия на первых 8 страницах рецензии по поводу других работ Потебни, **не касающихся** синтаксического его учения?! Не сквозит ли тут прямо, что автор хотел сперва положительно унизить Потебню при разборе этих работ, чтобы впечатление об отсталости Потебни в одной области рикошетом отзывалось в читателе при оценке и синтаксического его учения?! (Прежде разобранные «труды Потебни быстро де старелись и не достаивались должной оценки... **В том же смысле придется, может быть, со временем высказаться и о его синтаксических исследованиях**» — стр. 355). И действительно, что за разбор синтаксиса Потебни предлагает автор? Ведь это пахнет щедринским выражением: «с одной стороны нельзя не признаться, а с другой — нельзя не сознаться...», есть де кое-что, стоящее внимания, а все остальное — плоды собственного измышления, или не имеющего «серьезной научной подкладки», или основанного на отсталой психологии Гербарта, а не Вундта (стр. 357). К чему было, например, рубить так сплеча, что в вопросе де о значении составных глагольных форм Потебня «показывает свою полную несостоятельность» (стр. 360)? К чему было так высмеивать рассуждения Потебни об отпричастных прилагательных на **ль**? И разве прав сам г. Соколов, если желает видеть **только** видовое различие между беспредложными и предложными прилагательными на **ль**? Ужели **вообще** можно разбирать **так** синтаксическое учение Потебни? А к чему эти позолоченные пилюли после каждого нападения на то или другое место в учении Потебни: «несмотря на свое заблуждение, Потебня дал де кое-что для решения такого-то вопроса...», «несмотря даже на такие бесцветные рассуждения и промахи, Потебня... надолго де еще останется нам истинным судьей» по таким-то вопросам... (стр. 358). Все это как-то не вяжется с серьезной научной критикой.

Вот **общее** мое впечатление от рецензии г. Соколова, если не касаться некоторых частных мыслей и выводов, над которыми стоит, конечно, подумать или, по крайней мере, проверить их. Относительно взгляда г. Соколова на **мою** роль в изложении синтаксиса Потебни говорить нечего: он желает одного, а я при своей работе стремился совсем к другому; он порицает меня за то, что я не отнесся к Потебне критически и слепо следовал ему, я же имел в виду и считал **необходимым** прежде всего быть только **интерпретатором** синтаксических взглядов Потебни и **добросо-**

вестным излагателем его сочинений по синтаксису. Я надеялся (и до сих пор уверен в этом), что книжка моя в **этом** виде будет гораздо полезнее для занимающихся наукой, чем **смешение** взглядов Потебни с моими личными. Следовательно, мои стремления совершенно расходятся с желанием г. Соколова. Отсюда понятно, что я **не мог и не должен** был делать того, чего требует от меня рецензент. А если где и позволял себе я не соглашаться с Потебней, то делал это с великой осторожностью в виде подстрочных примечаний и притом мотивированных. Словом, я хотел дать в своей книжке **Потебню** и помочь желающим понять его, пользоваться им при разрешении разных синтаксических вопросов, а если кому угодно, то и двигать дальше науку в области синтаксиса. Если бы г. Соколов посмотрел на мою книжку с этой точки зрения, то, конечно, не стал бы упрекать меня за то, что я «следую за подлинником там, где не следует следовать», что «рассуждать вслед за Потебней о корнях слова, о доисторическом периоде в жизни языка, о связи значений с формой и т. д., значило бы только «*intandum renovare dolorem*» и т. д. и т. д. Но ведь тогда мой Потебня не был бы Потебней, а читатели не могли бы пользоваться моей книжкой с **доверием** и невольно стали бы сомневаться, не пропустил ли я чего-нибудь важного, существенного. Не говорю уже о том, что и ошибки таких ученых, как Потебня, важно знать для людей, занимающихся наукой: ошибка одного часто ведет другого к открытию истины.

Извините, ради бога, что утруждаю Ваше внимание этими строками, но мне хотелось поделиться с Вами вынесенным впечатлением от рецензии г. Соколова. Д. Н. Овсяннико-Куликовский, должно быть, так и не удосужился послать в «Известия» свой отзыв».

Д. Н. Овсяннико-Куликовский действительно не сделал разбора труда Белоруссова, хотя в письме от 24 марта 1902 г. Шахматов писал ему: «Вы, вероятно, получили от Белоруссова его книгу по синтаксису. Не будете ли так добры дать о ней отзыв для «Известий». Вам легче сделать это чем кому-либо другому»¹⁵.

Сохранилось письмо И. М. Белоруссова от 7 апреля 1902 г. к Овсяннико-Куликовскому, в котором раскрываются некоторые обстоятельства, приведшие к созданию «Синтаксиса русского языка в исследованиях Потебни», и роль Шахматова в появлении этого труда:

«Поводом к изложению синтаксических исследований Потебни послужила составленная мною русская грамматика для средних школ, в которую я попытался ввести научные начала. Грамматика моя, как необычная, прививалась туго среди преподавателей, привыкших к грамматике Кирпичникова. Не жаловал мою грамматику и самый Учебный комитет в лице своих рецензентов, но я не унимался и продолжал делать маленькие издания для тех немногих, которые все-таки пользовались и моей грам-

матикой. Назад тому два года я показал свою грамматику А. А. Шахматову, который вполне одобрил ее и дал мне при этом добрый совет изложить синтаксическое учение Потебни, который трудно читается обыкновенными смертными. Вот ближайший повод к появлению моего «Синтаксиса русского языка в исследованиях Потебни». Сперва я думал было ограничиться изложением лишь самого существенного, но потом увидел, что это было бы только полуделом, и потому решил изложить и прокомментировать все три части «Записок по русской грамматике» и «Значения множественного числа».

Поможет ли это распространению научных начал в школьных грамматиках вроде моей, не знаю, но желал бы думать, что «Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни» не будет бесполезной книгой по крайней мере для преподавателей и студентов филологического факультета. На научное значение своей книги претендовать не смею, хотя Алексей Александрович и уверяет меня, что я де сделал вклад в науку¹⁶.

Переписка И. М. Белоруссова с Шахматовым продолжалась много лет, но вопросы, связанные с «Синтаксисом русского языка в исследованиях Потебни», они не обсуждали. Только в письме от 21 февраля 1917 г., присланном из Алушты, Белоруссов возвратился к этой книге:

«Мне очень лестно было услышать Ваш отзыв о моем Потебне, и благодарю судьбу, что вздумали Вы читать в нынешнем году курс синтаксиса в университете¹⁷, иначе не представилось бы Вам случая познакомиться с моим «трудом», как Вы выражаетесь. Но простите мою нескромность, в 1903 г. Д. Н. Овсянко-Куликовский в письме своем ко мне совершенно такой же дал отзыв о моем Потебне: он тоже говорил, что моя работа эта должна быть настольной книгой для всякого, желающего заниматься Потебней. Учебный комитет Министерства народного просвещения также одобрил моего Потебню для библиотек мужских и женских гимназий, реальных училищ, учительских институтов и учительских семинарий. И, однако, ни одно из означенных учебных заведений не удостоило выписать у меня ни одного экземпляра, так что отпечатанные мною 1.000 экземпляров спят сном праведных на чердаке в Орле, и придется в конце концов продать своего дорогого Потебню на вес... в мелочные лавочки. И оправдаются таким образом незабываемые стихи

И оду уже его тисненью предают,
И в одах уж его нам ваксу продают...

А между тем, следовало бы, кажется, обязательно иметь каждому казенному среднему учебному заведению по 1 экземпляру, если не для современных преподавателей русского языка, то хотя бы для последующих поколений. Ведь 2-го издания Потебни не будет.

Синтаксис моего «Учебника по русской грамматике» составлен на основах Потебни и тоже одобрен Учебным комитетом Министерства народного просвещения и даже удостоен премии Петра Великого; однако, по косности гг. преподавателей за последнее время тоже не выписывается моя грамматика, т. к. находят более удобным изучать русский язык по «ветхозаветным» учебникам или по новым спекулятивным изданиям «сих дел мастеров», обыкновенно обворовывающих другие грамматики и умеющих расхвалить свой товар.

Вот я и подошел таким образом к своей нескромной просьбе, глубокоуважаемый и сердобольный Алексей Александрович: 1) Не найдете ли возможным авторитетно заявить от себя, как председателя Отделения русского языка и словесности, одному из влиятельных членов Учебного комитета Министерства народного просвещения, чтобы Потебню моего рекомендовали для обязательного приобретения по 1 экземпляру для фундаментальных библиотек всех средних учебных заведений, как книгу, полезную для гг. преподавателей и не могущую выйти 2-м изданием.

Подобного рода рекомендация делается Учебным комитетом нередко. 2) Что же касается моего «Учебника», удостоенного премии Петра Великого, то не сочтете ли возможным упомянуть о нем на своих лекциях для сведения студентов, как будущих преподавателей, что учебник этот составлен на основах Потебни и приурочен к средней школе (изд. 26-е, 1916)».

И. М. Белоруссов, очевидно, так и не узнал, что рекомендация его труда была сделана Шахматовым еще в 1904 г.:

«Книга И. Белоруссова «Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни», Орел, 1902 г. (стр. 258 + XII), по выходу ее в свет, была допущена Учебным комитетом Министерства народного просвещения в библиотеки средних учебных заведений, учительских институтов и учительских семинарий. Ознакомившись с этой книгой и находя, что она представляет собой точное и удобопонятное изложение синтаксического учения такого выдающегося ученого, как Потебня, я находил бы справедливым, чтобы книга эта не только была допущена Учебным комитетом, но и рекомендована для обязательного приобретения ее, как в фундаментальные, так и ученические библиотеки всех средних учебных заведений Министерства народного просвещения.

6 ноября 1904

А. Шахматов».¹⁸

Давно стал библиографической редкостью труд педагога из города Орла. И все же до наших дней нет равных ему в доступности изложения научных идей А. А. Потебни по вопросам синтаксиса. Каждому, кто намерен углубиться в учение великого лингвиста, полезно начинать знакомство с ним по книге И. М. Белоруссова. А отдавая должное одаренности и научной

эрудиции ее автора, будем помнить, что она была создана по инициативе и при непосредственном участии ученого с мировым именем — академика Алексея Александровича Шахматова.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эта дата стоит на белом заглавном листе; на цветной обложке — 1902 г.
2. Здесь и далее подчеркнуто автором.
3. Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни. Изложил И. Белорусов. Орел, 1902, с. 4—5.
4. О его жизни и деятельности см.: Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды. Биобиблиографический словарь, т. I. Минск, 1976, с. 19—22.
5. Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни, с. 8.
6. Александр Иванович Смирнов (1842—1905), историк литературы, профессор; с 1880 г. — редактор-издатель «Русского филологического вестника».
7. После смерти основателя журнала «Филологические записки» Алексея Андреевича Хованского его дело с 1899 г. продолжали наследники.
8. Отчет о присуждении А. А. Потебне Ломоносовской премии был прочитан И. И. Срезневским на торжественном заседании Академии наук 29 декабря 1875 г.
9. После рецензии Ф. Ф. Фортунатова, опубликованной в «Отчете о 26 присуждении наград графа Уварова» (1884), исследованию А. В. Попова была присуждена Уваровская премия, несмотря на то, что Фортунатов показал фактическую необоснованность исходных позиций автора и противоречивость его концепции. Но, как отмечал В. В. Виноградов, «выдвинутая А. В. Поповым проблема одночленных неглагольных предложений и путей их возникновения и развития сохраняла всю свою силу и актуальность по отношению к русскому синтаксису» (Из истории изучения русского синтаксиса. М., 1958, с. 363).
10. Ответ А. А. Шахматова на этот вопрос остается неизвестным. Можно думать, однако, что опасения И. М. Белоруссова дали толчок к пересмотру его отношения к исследованию А. В. Попова. Во вступительных лекциях по синтаксису, писанных в июне-августе 1916 г., А. А. Шахматов отмечал: «Высказанные в этой книге взгляды на сущность «одночленных» (безглагольных) предложений встретили, как увидим, критику в лице самого А. А. Потебни (во втором издании «Из записок по русской грамматике»), а все вообще сочинение подверглось суровой, но справедливой оценке Ф. Ф. Фортунатова... Ф. Ф. Фортунатов упрекнул А. В. Попова в методологической ошибке, состоящей в том, что последний делал отправными положениями своего исторического исследования некоторые гадательные предположения об образовании и первоначальном значении падежей в эпоху доисторическую, предшествующую распадению индоевропейского праязыка». Коротаева Э. И. Учебные пособия по синтаксису и темы для семинарских сочинений, рекомендованные акад. А. А. Шахматовым. — ВЯ, 1973, № 6, с. 112.
11. Илья Александрович Шляпкин (1858—1918), историк русской литературы, археограф, профессор Петербургского университета.
12. Известия ОРЯС, 1903, т. VIII, кн. 2, с. 365.
13. Там же, с. 366.
14. Редакция журнала в примечании к статье Н. Н. Соколова отмечала, что она «не может согласиться с данной им оценкой и не находит справедливым суровый приговор Н. Н. Соколова» (Известия ОРЯС, т. VIII, кн. 2, с. 347).
15. Отдел рукописей Института русской литературы АН СССР, Архив Овсяннико-Куликовского Д. Н., ф. 211, оп. 1, ед. хр. 250, л. 8.
16. Там же, ед. хр. 37, лл. 1—2.

17. Что именно писал Шахматов Белоруссову, неизвестно. В 1916 г., читая курс синтаксиса, он отмечал: «Полезным пособием при изучении синтаксических трудов А. А. Потебни является конспект, который под заглавием «Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни» составлен и издан И. Белоруссовым». Коротчаева Э. И. Учебные пособия по синтаксису и темы для семинарских сочинений, рекомендованные акад. А. А. Шахматовым, с. 111.
18. ЛО Архива АН СССР, ф. 134, оп. 1, ед. хр. 289, л. 1.

К ПРИНЦИПАМ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В. В. Колесов

«Историческое прошлое — вообще не прошлое, оно современно». Р. Дж. Коллингвуд. Идея истории.

В современном языкознании возникло влиятельное направление, которое можно назвать «историей языкознания», или «филологией языка». Проблемы науковедения вообще актуальны в наше время, как и в любое другое время, когда наступает пора подвести итоги развития науки и наметить организованный план совместных действий на будущее. Но история языкознания в этом смысле важна не только как попытка разобраться в сложном сплетении разноречивых мнений о реальных и мнимых достоинствах научных школ, направлений, лиц, организаций и т. д., но и как теория языка, формирующая наиболее важные, категориальные свойства проблемы изучения языка. В таких условиях и проблема периодизации становится важной, поскольку и вообще периодизация отдельных форм духовной деятельности связана с общенсторической периодизацией. Классики марксизма-ленинизма не раз говорили, что периодизация науки должна строиться в зависимости от объекта ее исследования, и только тогда границы отдельных периодов могут быть различными для разных наук в общих границах всемирных исторических эпох.

Уже современники упрекали И. В. Ягича за то, что в своем капитальном труде «История славянской филологии» автор оторвал факты от современной им «общественной обстановки»; общественная обстановка полнее отражает движущие силы своего времени, то новое, что на самом деле определяет развитие науки или создает новые возможности такого исследования в будущем. Любопытно, что при каждой новой смене научного метода, при новом повороте в изучении языка возникает реакционный класс или социальная группировка и на некоторое время застопоривает развитие нового; церковники выступали

против М. В. Ломоносова в XVIII в., реакционное дворянство в начале XIX в. — против А. Х. Востокова, буржуазная наука в начале XX в. — против И. А. Бодуэна де Куртенэ и т. д. Такие «жернова науки» имеются и в наши дни, и на это не приходится закрывать глаза, потому что в своем развитии наука каждого класса проходит как бы три этапа: романтический — позитивистский — и последний, отмеченный чертами упадка, декаданса. Один этап накладывается на другой в зависимости от соединения в обществе классовых интересов. В эпоху «романтизма» процветают идеи и чувства, содержательный позитивистский период больше всего дает достоверных и хорошо проверенных данных, хотя подчас и не объединенных общей идеей, в момент «декаданса» (употребляю это слово как имеющее ценностные характеристики) развиваются неопозитивистские устремления представителей разных наук, ученых интересуется уже не самый объект науки, а их самовыражение в объекте, они приступают к построению многочисленных моделей объекта, соревнуются в порождении терминологии, развивают преимущественно прикладные проблемы своей науки и т. д. Постоянное чередование «взлетов» и «падений» свидетельствует и о развитии самой науки, и о положении в том обществе, которое использует данную науку. Для нас особенно важно, что чередование подобных импульсов социального характера позволяет точнее построить периодизацию науки, становится объективным указанием на границы членения истории науки.

Кроме того, важно представить себе, что и принципы познания изменяются с течением времени.

Рационализм XVIII в. исходил из принципа деятельности — проверка деятельностью была критерием любого постижения объекта, отсюда для науки XVIII в. характерны идеи порядка, нормы, закона: сущность предмета есть правило его образования (Декарт). Именно поэтому и языкознание преимущественно занималось практическим изучением родных языков — вне их развития (строгость модели обеспечивалась изъятием объекта из исторического процесса), конструированием литературных норм на основе наличного стилистического материала; рациональная грамматика, построенная на субстрате логических отношений, систематика фактов как аналог их системности, индукция как научный метод исследования, абстрагирование как средство построения простейшей модели объекта, — все это в полной мере характерно для науки XVIII в. Типичный представитель этой науки в России — Ломоносов.

Романтизм конца XVIII — начала XIX в. принес с собою исторический принцип исследования фактов, которые предварительно уже были разработаны в рациональных моделях. Философским обеспечением этого принципа стала диалектика Гегеля, а социальной базой — национально-освободительные движения

во многих европейских странах. Основные особенности этой науки достаточно хорошо известны, потому что сравнительно-исторический метод вообще довольно хорошо и подробно изучен, в том числе и на материале отечественного языкознания.

В недрах сравнительно-исторического языкознания, еще в прошлом веке, предъявляясь в законченном виде уже в XX в., рождается новый принцип изучения научных объектов, философской основой которого для советской науки стал принцип отражения действительности в форме понятий и в конкретной деятельности. Это своего рода синтез двух предыдущих этапов, наука стала одним из средств преобразования действительности. Сущность предмета есть его функция, в понятие которой включены как система (синхронический принцип), так и развитие (диахронический принцип); типология как высшая форма сравнения объектов, динамическая модель литературного языка, научная грамматика в различных ракурсах (социо-, психо-, логико-, стиле- и других вариантов) разрабатывает инвариант языковой модели на уровне грамматических категорий, только внешним образом связанных со смежными областями гуманитарного знания; дедукция как основной метод познания, абстрагирование уже больше на уровне термина, а не понятия, поскольку не познание, а объяснение уже познанного объекта становится основным содержанием научных трудов по языкознанию, что отчасти (при недобросовестном отношении к делу) способно выхолащивать смысл научной деятельности современного лингвиста.

Занимаясь периодизацией истории языкознания, надлежит по возможности учесть все признаки изменяющегося во времени языкознания. Однако основными, опорными могут быть только некоторые признаки, полнее всего отражающие сущность научного поиска, прежде всего — отношение к объекту изучения, к предмету описания и методу исследования. Дальнейшее дробление по менее важным признакам даст уже классификацию по школам и направлениям, что представляет собою особую сторону истории языкознания. Разумеется, принципы и признаки классификации и периодизации должны быть максимально объективными; вряд ли приемлема искусственная периодизация, исходящая не из исторических фактов, а из заданной теоретической схемы. Так, например, некоторые немецкие ученые, изучая историю современного языкознания, рассматривают смену направлений как развитие гегелевской (диалектической) триады: сначала «тезис» — психологическое направление с интересом к индивидуальной речи, затем «антитезис» — социологическое направление с интересом к надиндивидуальному, и современный этап (в конце 50-х гг.) как примирение противоположностей («синтез») воспринимался в теории «семантического поля» Трира, Вайсгербера и др.¹ Не-

¹ Sprache — Schlüssel zur Welt. Düsseldorf, 1959, S. 257.

достаткой подобных схем является их хронологическая по охвату дробность, но самое важное — представитель любой научной школы, создавая очередную триаду, всегда исхитрится «синтезом» признать именно свое направление, потому что при желании и досуге можно найти минимум двух предшественников для каждого научного направления. Дело не в дробности школ и направлений, а в общих устремлениях времени, потому что время порождает хронологию.

В первом приближении и руководствуясь теми признаками, которые будут описаны, историю русского языкознания можно было бы представить в следующих хронологических границах (в общем именовании периодов пользуюсь социально-экономической терминологией, как максимально отвлеченной от собственно лингвистического объекта и потому более четкой в хронологических разграничениях, она дает хронологические грани разграничения, снимая вопрос о переходных моментах):

- I. Донациональный период (XI—XVI вв.)
- II. Преднациональный период (конец XVI—XVII вв.)
- III. Национальный период (XVIII — первая четверть XIX в.)
- IV. Дворянский период развития науки (первая четверть XIX в. — 70-е гг. XIX в.)
- V. Капиталистический период развития науки (после 70-х гг. XIX в. до 20 гг. XX в.)
- VI. Послеревolutionный период развития отечественной науки (до 50-х гг. XX в.)
- VII. Послевоенный период развития науки (до 70-х гг. XX в.)
- VIII. Современный этап развития науки (после 70-х гг. XX в.)

Принцип терминологической номинации не соблюден; в частности, нет единства в основаниях, по которым периоды ограничиваются либо социальными, либо социально-экономическими, либо даже общественными параметрами. Это вопрос сложный. Однако следует иметь в виду, что со временем качественно изменяется и социальный состав общества, которое пользуется знаниями филологических наук, и само отношение к филологии; кроме того, по направлению к нашему времени периоды как бы сгущаются, становятся все более краткими по продолжительности, и это также обуславливает необходимость в изменении термина при именовании нового цикла. Дело, конечно, не в том, что чем ближе к нашему времени, тем более полной информацией об уровне науки мы обладаем (это как раз неверно, потому что современную науку мы понимаем меньше, чем науку любого другого, уже заверщенного в цикле периода); дело в особом сгущении научного знания именно по направлению к нашему времени.

Обсудим представленную периодизацию в отношении некоторых различительных признаков периодизации.

Изменяется соотношение между объектом и предметом

науки. Предмет филологии — духовная культура в человеческом слове, поэтому предметом языкознания остается изучение языка; объект постоянно изменяется в связи с усложнением процедуры исследования, его аппарата, уже изученных и фиксированных в грамматиках и словарях участков языковой системы, тех конкретных открытий, которые постепенно увеличивали предметное поле лингвистики до необъятных пределов, так что со временем началось изменение и предмета языкознания. Рассмотрим прежде всего отношение языкознания к **объекту изучения**.

I. Филологическая наука о слове — в основе изучения лежит текст, следовательно, в лингвистической единице интересуется прежде всего форма, не содержание (т. е. буква, а не звук, словоформа, а не морфема и т. д. на всех уровнях). Широкий филологический подход к объекту вызывает развитие таких вспомогательных дисциплин, как текстология, палеография, на очереди дня практические проблемы редактирования текстов, лексикографической обработки текстов с целью их интерпретации и толкования.

II. Филологическая наука о слове совмещается с логическими категориями смысла, что отражается в переводных и компилятивных грамматиках, в словарных разработках, которые фиксируют уже известные знания относительно «словенского» языка (выступает как рабочая модель языка вообще) — надъязыковой сущности, которая в соответствии со средневековыми представлениями об иерархии понимается как образцовый язык, образец — система. Основной объект лингвистики в это время — предложение («правильное синтагма», как сформулировал это М. Смотрицкий в названии своей грамматики 1619 г.). Поскольку языкознание в то время остается еще филологией, важность письменного текста сохраняется устойчиво, но центр исследовательского внимания перемещен с графики (буква) на орфографию (соединение буквы со «смыслом» слова).

III. Происходит постепенное выделение филологических наук из смежных областей знания и консолидация их в относительно устойчивый комплекс наук о языке. Основным объектом изучения становится слово во всей совокупности своих свойств и признаков, пока еще не слишком дифференцированных и выявленных сознательным образом; предложение еще можно понимать и как слово, и как предложение, однако внимание устремлено на слово как на единицу, которая действует на любом языковом уровне (и на лексическом, и на грамматическом; на синхронном и в развитии; и как слово, и как предложение, и т. д.). Национальный язык изучается в основном, поскольку впервые он осознается как самостоятельный по важности объект, а практические потребности времени требуют создания литературной его нормы. Создаются словари, грамматики, стилистическая дифференциация достигает критических пределов.

IV. Сравнительно-исторический метод открыл новый объект лингвистики — морфему; тем самым произошло «снятие» противоположности слова как лексической и грамматической единицы, и вместе с тем произошло новое углубление в объект познания. Дифференциация объектов и одновременное усложнение анализа приводят к образованию научных школ и направлений (историческая категория), не всегда однозначно решающих основной вопрос современной им науки. Появляются первые попытки синтеза уже достаточно далеко разошедшихся результатов научной рефлексии (особенно удачно — у А. А. Потебни); обнаруживаются модели, ориентированные на средневековую приверженность к форме, отвлеченной от содержания (Ф. Ф. Фортунатов). Последовательно выявляется коренная противоположность двух противостоящих друг другу течений в филологии, со временем приведшая к резкой поляризации двух отношений к языку: в языке важнее семантика, ее система и развитие (петербургская школа филологии) — напротив, в языке важнее форма и ее состояние (модель), которая выявляет функцию формы (московская филологическая школа).

V. Результатом разработки указанных проблем в их противоречивости и сложности стало открытие «звука» в том его качестве, которое определялось функцией (или семантикой) в составе морфемы: фонема. Как и на всех предшествующих этапах развития языкознания, углубление в объект вызвало сначала противодействие со стороны традиционного научного знания, затем — уточнения и спецификации со стороны представителей нового понимания объекта в границах предмета исследования, и, наконец, — запутывание проблемы последователями, которые пожелали свести к новой единице «весь язык» и потому стали усложнять аппарат исследования, процедуру описания и саму терминологию, делая ее недоступной для непосвященных, но не достигая никаких новых открытий в области самого объекта. Особенно много вреда, как обычно, принесли позитивистские устремления сторонников «прикладного знания», поскольку последовательная эмпирия мало-помалу убивает теоретическое напряжение науки. На этом этапе логического развертывания языкознания снова возникли научные школы, но уже не столько содержательные, сколько формальные, с особым интересом к классификации и терминологии, и притом основанные скорее на темпераменте их основателей, чем на действительном различии в объекте. Чем ближе к нашему времени, тем меньше действительных оснований для создания научных школ принципиального характера и тем больший вред приносят «школы», коль скоро они образуются (мне кажется, что эту особенность новой науки прекрасно осознавал В. В. Виноградов). Современная наука проблемна, организована не по научным принципам (административно); свои пробле-

мы она разрабатывает не в целокупности идей, а в зависимости от задач дня. Сегодня науке нужны не основатели научных школ, а лидеры, которые постоянно сменяются в зависимости от разработки проблем, причем чаще всего лидерами являются не административно ответственные лица. Это в корне изменяет и функцию «школы» в современной науке: она тормозит развитие науки своими претензиями на исключительность — своеобразный эвгемеризм, возвращающий нас к мифологическому мирозерцанию.

VI. Продолжается дальнейшее аналитическое дробление объекта, обозначается некоторое злоупотребление в пользу семантики языка: с одной стороны, происходящее углубление в смысл (содержание языковых единиц) получает дальнейшее развитие в фонологии, которая отрабатывает и общефилософские понятия языковой структуры; с другой, — на первых порах не очень удачно, с вульгарными преувеличениями, которые всегда сопровождают вхождение в новую тему, — через языковые единицы изучается понятие как логический эквивалент языковой семантики (формы речемысли, понятийные категории, континентальная грамматика, философия грамматики и т. д.). В обоих случаях поиск устремлен в направлении мельчайших различительных признаков языковой структуры, которые организуют систему языка (дифференциальные признаки фонемы, семы и т. д.), что полностью изофункционально и всем остальным направлениям современной науки — от философии до физики. Качественная характеристика объекта пополняется понятием «отношение», что в известном смысле завершает линию развития от изучения признака через постижение качества и более существенного в познании объекта свойства (соответственно: слова, морфемы, фонемы) как минимальных различительных средств языка.

VII. Это вызвало развитие нового метода исследования — структурного, сформировалась теория лингвистической относительности, все шире распространялись дедуктивные интерпретации на основе накопленного эмпирического материала, а в качестве основного объекта изучения все шире стало представляться предложение в его эквивалентных связях с суждением, функцией и т. д.

VIII. Данный этап развития языкознания в настоящее время, по-видимому, близок к завершению; уже обозначился интерес к более широкой по объему структуре, которая требует изучения с точки зрения категории смысла — к тексту. Грамматика текста, стилистика текста, структура текста, функция текста, история текста и т. д., — таковы новые направления научного поиска лингвиста сегодня. Это же, по-видимому, станет предметом и объектом изучения в ближайшем будущем, поскольку такова логика развития лингвистики.

Итак, в истории языкознания наблюдается сначала последовательное углубление в изучение лингвистической формы, в результате чего возникла все более дробная классификация исходных дифференциальных средств языка (текст — предложение — слово — морфема — фонема — дифференциальный признак), а с момента, когда формальный анализ дошел до смыслового предела, начался обратный отсчет в отношении к объекту исследования, на этот раз уже с позиций семантики языковых единиц (сема — фонема — морфема — слово — предложение — текст). Вторая линия развития проходила свой цикл настолько стремительно, фактически на протяжении последних ста лет, что некоторые этапы проработки логической цепи знания остаются неисполненными, и их завершают как бы «задним числом», иногда даже в невероятных трудностях и в условиях непонимания (так отнеслись к работам А. Журавлева по семантике фонем). Это относится к морфемике, которая сегодня обрабатывает семантические корреляции на уровне «морфема — слово», а также и к морфонологии, которая ту же работу осуществляет на уровне «фонема — морфема» (не говорю уж о словообразовании, как более раннем по времени лингвистическом направлении, которое интересует участок «слово-предложение»). В принципе, все это то, что сейчас называется разноуровневыми единицами языка, но происходит это просто потому, что подобные единицы пока не уложились в сознании широкой лингвистической общечеловечности (не забудем, что сегодня многие специалисты остаются чрезвычайно узкими специалистами, и в таких условиях собственная научная дисциплина, будь то словообразование или, шире, «дериватология», или даже фонология, и т. д., представляются каждому из них пределом теоретической мощи современной науки).

В принципе, создания различных научных школ в наши дни ожидать трудно, потому что все наличные силы заняты столь разнородными и почти несвязанными друг с другом проблемами (и притом в идеологически и методологически общем ключе), что ситуация соперничества или теоретических расхождений оказывается немислимой. Вдобавок одновременно происходит и аналитическое дробление предмета исследования, а вряд ли можно считать разными научными школами социолингвистику в ее отношении к психолингвистике и т. д. — это просто разный подход к объекту исследования, основанный на разложении прежде единого предмета описания; при наличии общего предмета расхождения в отношении к объекту могли породить научные школы, имеющие основания для сравнения, теперь подобной возможности объективно нет.

Тут же следовало бы сказать и о том, что объективное развитие самого языка способствовало усложнению в восприятии его конституирующих единиц; для меня, как историка языка, это

аксиома, но, по-видимому, любой специалист-языковед также понимает эту сторону дела достаточно определенно. Дело не в том, что сегодня мы «умнее» своих предшественников, а в том, что принципиально изменилось функционирование языковой системы, требования, которые ставит сегодня перед языком практическая деятельность людей, сами категории речемысли, которые и создают тот непробиваемый каркас «здорового смысла», который обычно и мешает продвижению вперед на всем фронте лингвистического исследования.

Вместе с поворотами в отношении к объекту изучения соответственно изменялся и **метод исследования**.

I. Период фактически не обладает никаким научным методом, это чисто практическая, прикладного характера деятельность филолога, которую можно было бы назвать простым копированием образцов.

II. Развивается метод описательный — первый в ряду научных, но близко стоящих к практической ориентации на традиционные образцы.

III. Сопоставительный метод отрабатывается в связи с выделением комплекса наук о языке; литературная норма национального языка развивается также в сопоставлении с уже готовой нормой церковнославянского книжного языка, который воспринимается как образцовая модель нормативного языка вообще. То же касается и других сторон изучения языка или его описания.

IV. Независимо друг от друга и на разных основаниях разрабатываются исторический и сравнительный методы научного исследования. Сравнение родственных языков и историческое изучение одного, как правило, родного языка, который имеет определенную (верхнюю) хронологическую грань (современный литературный язык) представлены, с одной стороны, в трудах А. Х. Востокова, с другой — в трудах Ф. И. Буслаева. Некоторое время они и развиваются независимо друг от друга, хотя в трудах отдельных представителей языкознания первой половины XIX в. в конкретном описании эти методы могут и пересекаться (И. И. Срезневский).

V. Фактически это период, в который окончательно сформировался сравнительно-исторический метод как качественно новый научный метод, впитавший в себя достоинства сравнительного и исторического методов и тем самым несколько нейтрализовавший недостатки каждого из них в отдельности; этот весьма продуктивный метод позволил заглянуть в сущность языка и его развития, поскольку обнажил для исследования наиболее динамичную и притом функционально важную единицу — морфему. Важным достоинством этого метода стала возможность его дальнейшего совершенствования, включения в его орбиту множества частных методик, которые обогащали технический арсе-

нал метода и в конце концов снова дали качественный скачок и в познании объекта, и в преобразовании метода. С 1872 г., когда А. А. Потебня определил особенности нового метода и дал ему название, до конца 20-х гг. XX в. прошло не более полувека, а новый метод уже развился до высших степеней точности и изощренности исследовательской процедуры, так что возникло даже убеждение в том, что совершенство метода не нуждается ни в дальнейших отработках его самого, ни в замене его каким-либо другим методом. Однако, как слияние сравнительного метода с методом историческим, основанное на общем для них интересе к прошлым стадиям развития языка, породило сравнительно-исторический метод, точно также и новые задачи, стоявшие перед языкознанием, в 20-е гг. привели к возникновению еще одного метода, также испытывавшего интерес к системе языка. Сравнительно-историческое языкознание вплотную подошло к пониманию системы, но не смогло постулировать ее теоретически, потому что ограничивалось изучением элементов системы, не прибегая к структурированию организующих ее отношений; естественным переходом от элемента системы к отношению в системе стало развитие структурного метода.²

VI. Структурный метод становится важным средством познания языка и позволяет сделать важные наблюдения над языковой системой и структурой. Положенный в его основу принцип различительных признаков и системных отношений позволил создать еще более точную модель языковой системы, в том числе и в ее конкретных проявлениях (национальные языки). Дело не ограничивалось только синхронным описанием системы, поскольку и понятие о диахронических (динамических) структурах медленно, но верно пробивало себе дорогу. Важной заслугой метода, в частности, стало широкое осознание того факта, что в исторической проекции развивались не только языковые формы, но и изофункциональные им языковые значения, и даже не столько они каждая в отдельности, сколько они же, но совместно, в диалектическом единстве категорий языка. Категориальность лингвистического мышления и есть то новое, что принес с собою структурный метод, освоение которого проходило столь же медленно, как и всех предшествующих ему научных методов. Еще нашим учителям, если не всем, то большинству, не совсем ясно было соотношение между системой элементов и структурой отношений этих элементов в системе, и они не могли принять структурализма, поскольку не увязывали в своем сознании оба проявления одной и той же реальности предмета описания. Однако мало-помалу и эти, первоначально казавшиеся противоположными, объекты сошлись в общем представлении о

² См.: Колесов В. В. Значение лингвистических трудов А. А. Шахматова для современного славянского языкознания. — ВЯ, 1971, № 2, с. 53—61.

системе, и тогда работа структурным методом стала осознаваться как неизбежность, исторически благоприятная. Произошло новое диалектическое «снятие» противоположностей путем выхода на более общую исследовательскую процедуру (как в конце XVIII в. противоположность между описательным и сопоставительным методом породила сравнительный метод, и т. д.). Обогащение метода на каждом последующем этапе не отменяет, разумеется, практической ценности предыдущих методик, однако они понижаются до ранга конкретной методики, а острие научного прогресса, современный научный метод, они уже не обеспечивают, поскольку не соответствуют методологическим установкам данной исторической эпохи. Постоянное взаимодействие между конкретными методиками — конкретным для данной науки научным методом — и основополагающей, философского достоинства, методологией постоянно присутствует в каждую историческую эпоху развертывания науки, и это становится важным критерием в построении периодизации конкретной науки, в частности, и истории языкознания.

VII. Структурализм как метод столкнулся со столь массивным пластом эмпирической науки, что пробить его оказалось не столь уж и просто. Отсюда и ошибочное представление, будто в нашей стране структуральные исследования языка не велись. На самом деле много из того, что старательно избегало называть себя структурализмом, выполнено, по счастью, структурными методами, и поэтому на нем лежит печать современной научной теории, результатами таких работ можно пользоваться и в будущем. Если не спорить о словах, которые многих обижают, можно сказать, что сегодня структурализм настолько влиятельный научный метод, что стал способным развивать и свои дочерние методики, восполняя арсенал наличных технических средств исследования: такое бывает только с окончательно стабилизировавшимися научными (теоретическими) установками. Одновременно возникает и новая противоположность, которая требует разрешения в диалектическом снятии в крайних точках и стабилизации метода на более высоком, соответствующем современным требованиям уровне. Противоположность между структуральным и сравнительно-историческим методами отчасти сохранялась и выявилась особенно ясно в их отношении к временным границам исследования объекта (соответственно: настоящее и прошедшее). Структурная типология стала тем новым методом, который постепенно, шаг за шагом, снял указанную противоположность, поскольку принцип исторического сравнения языковых фактов одинаково свойствен как сравнительно-историческому, так и типологическому методам, различаясь только в широте охвата материала (родственные языки — неродственные языки). В результате обозначились и временные границы исследования: устремленность к будущему, стремление

не просто понять и описать принцип системы и структуры языка — национального, частного, этого языка — но языка вообще, языка-модели, с тем, чтобы получить возможность прогнозировать дальнейшие преобразования языковой структуры, а через нее — и системы языка. В принципе, идет постоянное усложнение аппарата исследовательской процедуры, но основная цель развития науки сохраняется постоянно: стремление быть на уровне науки своего времени, соответствовать потребностям этой науки и теоретически, и практически. Соотнесенность с действительным тоном общественной и культурной жизни своего времени — также важный признак развития языкознания, одна из основных категорий, помогающих понять периодизацию в развитии нашей науки. Если сам язык ни в коем случае не надстройка над экономическим базисом, то само языкознание, как и всякая наука, такую надстройкой является, и это необходимо принимать во внимание при построении периодизации истории нашей науки.

VIII. Продолжаются поиски новых методов, потому что этот процесс, как показывает история языкознания, всегда предшествует конкретному воплощению метода во плоти методических приемов исследования. Это процесс построения философских основ науки, и он опережает все конкретные применения уже готового метода (который продолжает оттачиваться и в дискуссиях с противниками нового метода — в этом их заслуга перед языкознанием вообще). Этот процесс продолжается реально, хотя отчасти он затушеван серпантинном терминологии, которым некоторые прыткие люди желали бы нас опутать безо всякой пользы для существа дела. Все эти бастарды типа «сравнительно-типологического» или «сопоставительно-исторического» и других «методов» уже по внутренней форме своих определений являются невыносимым порождением эклектического сознания, которое в путанице сегодняшних противоречий утратило собственный путь в поиске новых горизонтов.

В процессе изложения уже указывалось и на параллельный процесс, на постепенное иссечение и предмета языкознания, а это также может стать признаком классификации. Понятия предмета и объекта языкознания совпадали у филологии в средние века; затем, после того, как началось постепенное вычленение научных дисциплин из филологического цикла, неуклонно обнажался и предмет самого языкознания — только язык без побочных продуктов его деятельности и развития. Как самостоятельная научная дисциплина языкознание сформировалось только к концу XIX в.; но как только это произошло, началось еще более дробное разбиение самого предмета языкознания на составляющие его части. Происходит сосредоточение частных методик в отдельных разделах языкознания, которые прежде входили в общую теорию языка. Например, логистическая, психологиче-

ская, структурная, типологическая, социологическая, функциональная и всякая иная концепция предложения раньше конкурировали друг с другом в границах общей теории и были противопоставлены друг другу как разные точки зрения различных научных школ на общий объект исследования. Теперь же ученые, работающие изолированно и по оригинальным методикам в области социолингвистики, психолингвистики, занятые построением континентальной грамматики или обработкой структурно-типологических моделей, — все они работают параллельно как представители смежных областей знания, коррелирующих в отношении к общему объекту, но уже разделенные предметным полем исследования. Современные исследователи цитируют (если у них достает честности обращаться к действительному первоисточнику своих идей или истин, а не к ближайшему «родоначальнику» их школы) Ф. И. Буслаева, А. А. Потебню, А. А. Шахматова, Ф. Ф. Фортунатова или И. А. Бодуэна уже независимо от исходной принадлежности последних к определенной научной школе в прошлом — этот признак их противопоставленности снят дальнейшим развитием науки и для современной научной теории уже не релевантен³. Современного ученого интересует результат, достигнутый на определенном этапе развития классической русской лингвистики, а не расхождения в общих взглядах представителей этой лингвистики; таким образом и принципиальные в прошлом разногласия нейтрализуются в новой постановке вопроса. Она заключается в установлении определенной точки зрения на общий объект исследования — при изменившихся ракурсах предметного поля описания; происходит замена объекта исследования предметом описания. По всей видимости (об этом можно судить по всей совокупности данных истории языкознания), перемещение точек зрения сопровождается те хронологически грани развития науки, когда очередной цикл развития науки завершен, и организуется переход к новому ее циклу — в отношении к объекту исследования, каждый раз обогащенного качественно новыми признаками различия (фонема — дифференциальный признак, но тут — скачок к семе, как то же дифференциальному признаку, но более высокого класса). Поворотом внимания к разным сторонам объекта при изменении предметного поля наблюдения наука как бы перебирает возможности дальнейшего развития своей теории, останавливаясь в конце концов на одном каком-то варианте. Именно этот момент перехода циклов мы и переживаем во второй половине XX века. Что бы ни думали на этот счет социолингвисты, психолингвисты и другие, — это только переходный период, и даже в периодизации истории языкознания он не будет отмечен как существен-

³ Если, конечно, не опираться на позитивистский принцип кумулятивности научного знания и, следовательно, на представление о том, что все, бывшее в прошлом системным, до сих пор сохраняет цену своей систематичности.

ный признак, разграничивающий этапы развертывания лингвистической теории. Ведь распадение единства предмета науки порождает эклектизм понятий и определений, а также чисто субъективные характеристики других, более цельных в теоретическом отношении, научных периодов. Чего стоят, например, частые в современной научной литературе оценки классиков языкознания относительно их «преувеличений» в психологизме (относительно Потебни или Бодуэна), логицизме (относительно Буслаева), формализме (относительно Фортунатова), социологизме (им же несть числа и порядка) и т. д. В условиях цельных научных направлений, в которых работали названные ученые, отчасти их и создавая, в науке не существовало подобного членения позиций в отношении к предмету описания, и только сегодняшнее состояние дел позволяет оценить их деятельность также и с этой точки зрения, вовсе не накладывая на предшественников какой-либо тени (это было бы не только несправедливо, но еще и неисторично). Напротив, осуждение подобных «преувеличений», «непониманий» и т. д. накладывает тень на современных исследователей, которые при всем том считают допустимым в интерпретации материала пользоваться наблюдениями классиков отечественного языкознания уже независимо от принадлежности последних к определенным научным школам — своеобразный «критерий эклектизма» на уровне постановки задачи исследования.

Все побочные и второстепенные стороны этого общего процесса развития науки, такие, как изменение терминологии, изменение отношения к таким категориям, как стиль (то, что для средневековья стиль, то для современного лингвиста функция) и т. д., оставляя пока в стороне, поскольку все они могут быть определены, установлены и описаны исходя из существенных признаков периодизации, связанных с изменением объекта, метода и предмета науки. При периодизации точно так же можно было бы учесть и те категории, которые в своих изменениях характеризовались не векторным переходом по принципу развития (от текста до признака и от семы к тексту), а преобладанием интереса к одной форме ее проявления; тут обозначается более широкая амплитуда колебаний. Содержанием постоянного «раскачивания» между преимущественным вниманием к описанию или к изменению является непрекращающаяся борьба между категориальным восприятием языка — синхрония или диахрония, материя или развитие, форма или содержание и т. д. История как синхрония изучается в средние века (все устойчиво и вечно); рациональную грамматику XVIII в. можно истолковать как победу синхронического принципа, который продолжает идею незыблемости и вечности языковых категорий; с начала XIX в. развитие языка как проявление диалектических противоречий знаменует собою победу диахронического принципа миро-

воззрения; с начала XX в. синхрония понимается как свернутая история (типология, этимология, внутренняя реконструкция и т. д.). В этот момент образуется ситуация, прямо противоположная той, что сложилась в середине века; но тем самым спираль развития знаний о языке завершилась полным циклом, и в начале нового ее витка нам предстоит прогнозировать будущие возможности языкознания. В этом смысле развитие наук проходит одинаковые этапы, ср. и в области естественных и точных наук (на которые и развитие языкознания некоторым образом опиралось): преобладание механики в XVIII в., последовательное развитие логики, психологии и биологии в XIX в., с начала XX в. смена творческих импульсов со стороны физики, затем химии, теперь — со стороны молекулярной биологии и теории элементарных частиц в физике и т. д.

Более частными критериями периодизации могут стать указания на параллельное развитие внелингвистических категорий, например, категорий логики, которые направляют формирование лингвистических идей с XV в., но с разной степенью интенсивности и с совершенно различными результатами.

Таким образом, в процессе уяснения логики науки и изучения языковых категорий познания и сама история языкознания оказывается важным источником и даже теорией (как частный случай теории познания, изучавшей аппарат познания). История языкознания, как выясняется из всего сказанного, есть динамическое преобразование системы частной науки в основных различительных признаках ее структурных отношений.

Этим определением я подтверждаю, что история языкознания имеет свой предмет, объект и методы изучения, следовательно, представляет собою самостоятельную научную дисциплину; то же определение указывает на необходимость поставить изучение этой дисциплины на уровень развития современной науки, т. е. пользоваться понятиями, определениями, признаками и терминологией современного уровня развития лингвистической теории.

Замеченные опечатки

Страница, строка	Напечатано	Должно быть
с. 19, строка 29—30	В. В. Виноградов. Избранные труды. История русского литератур языков.	Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков.
с. 29, строка 47	Ученые записки Тартуский университет.	Ученые записки Тартуского университета. Вып. 573
с. 70, строка 27	происхождении русских письменных памятников	происхождении, отношении русских письменных памятников
с. 83, строка 8	с последующей главной	с последующей гласной
с. 98, строка 37/38	будет опозорен точно	будет опознан точно
с. 113, строка 34	одобренный	ободренный